

ЛЕГЕНДЫ ЛЕСНЫХ ТРОП



Роман Поплескин

Роман Поплескин
Легенды лесных троп

«Автор»

2026

Поплескин Р.

Легенды лесных троп / Р. Поплескин — «Автор», 2026

«Марфа да Матвей. Легенды лесных троп» — это сборник древних сказаний, которые бабушка Агафья шептала близнецам долгими вечерами у печи. Эта книга — содержит ключи ко всей Ольховской саге. Она не рассказывает историю Марфы и Матвея — она создаёт мир, в котором эта история стала возможной. Садись поближе. Агафья уже зажгла лучину.

© Поплескин Р., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Легенда 1	5
Легенда 2	11
Легенда 3	20
Легенда 4	25
Легенда 5	29
Легенда 6	43
Легенда 7	49

Роман Поплескин

Легенды лесных троп

Легенда 1

Как Род миры создавал.

В начале не было ни неба, ни земли, ни травы, ни ветра. Был только Хаос — бездна, в которой всё смешалось: тьма и свет, жизнь и смерть, прошлое и будущее. Всё было везде и нигде. Всё было всем и ничем. И в этой бездне, в этой вечной зыбкости, был Род.

Род был не тем, кого можно увидеть глазами. Он был мыслью, что не кончается. Он был дыханием, что не затихает. Он был любовью, что не знает края. И он был всегда. Был, когда Хаос только начинал своё кружение. Есть сейчас, пока мы с вами говорим. И будет, когда последняя звезда погаснет в небе.

И однажды Род захотел, чтобы мир стал явным. Чтобы из бездны родился порядок. Чтобы из смещения возникла ясность.

Он простёр свои руки — и отделил тьму от света. Не враждуя, не сражаясь — просто зная, что так правильно. Тьма осела вниз, тяжёлая, спокойная, как сон после долгого дня. Свет поднялся вверх, лёгкий, ясный, как утро после дождя. И между ними возникла грань — тонкая, как нить, и прочная, как корень векового дуба.

Так появилась Правь — мир света и порядка. Мир законов, что правят всем сущим. Мир богов, что следят за тем, чтобы солнце всходило вовремя, чтобы семя давало росток, чтобы любовь находила ответ.

Так появилась Навь — мир тьмы и покоя. Мир памяти, где живут те, кто ушёл. Мир снов, где спят несбывшиеся желания. Мир тайн, которые не терпят дневного света.

А вместе они образовали Славь — великое единство, где свет и тьма не спорят, а дополняют друг друга. Как день и ночь, как лето и зима, как вдох и выдох. Ибо нет света без тьмы, нет жизни без смерти, нет начала без конца.

И увидел Род, что это хорошо. Что порядок пришёл на смену хаосу. Что мир стал прочным, как наковальня, и текучим, как вода. И он возрадовался.

И тогда Род наполнил миры смыслами и дал им имена, чтобы не пустовали созданные земли, чтобы было кому хранить порядок и заботиться о равновесии.

И поднялись из Прави боги светлые, что следят за законами мироздания. И были они первыми среди равных, ибо каждый отвечал за своё дело, и никто не возвышался над другим без нужды.

Сварог — небесный кузнец. Он выковал небесный свод, зажёл первые звёзды и установил порядок, по которому солнце встаёт на востоке, а садится на западе. Он дал людям огонь и научил их ковать металл, строить дома и держать семью. Его молот до сих пор стучит где-то за облаками, и этот стук мы слышим в грозу.

Лада — мать всех матерей. Она хранит любовь и лад в доме, мирит поссорившихся, утешает плачущих. Кто к ней обращается с чистым сердцем, тот не знает разлуки. Кто её гневит — тот теряет покой. Она же вплетает нити судеб в полотно мира, следя, чтобы ни одна не оборвалась раньше времени.

Велес — мудрый странник. Он открыл тропы между мирами, научил людей почитать предков и не бояться смерти, ибо за ней — новая жизнь. Он покровитель сказителей и пасту-

хов, хозяин скота и хранитель тайных знаний. Говорят, он ходит между Правью и Навью по Калинову мосту и провожает души.

Перун — громовержец. Он держит небо на своих плечах и разит молниями тех, кто нарушает законы чести. Он покровитель воинов и защитник слабых. Его топор рассекает тучи, а колесница грохочет по облакам, когда идёт дождь. Но не только грозен он — Перун также пробуждает землю от зимнего сна и дарит силу росткам, что тянутся к солнцу.

Макошь — пряха судеб. Она прядет нить жизни для каждого, кто рождается в Яви. В её руках — веретено, которое не останавливается ни днём ни ночью. Она знает, кому выпадет долгая жизнь, а кому — короткая, кому — счастье, а кому — испытания. Но и она не властна над тем, что человек выбирает сам. Ибо нить можно перерезать, но можно и сплести с другой — если сердце подскажет.

Даждьбог — податель света. Он развозит солнце по небу на своей золотой колеснице, и пока он это делает, на земле длится день. Он дарит урожай и тепло, от его взгляда распускаются цветы. А когда он закрывает лицо рукой, наступает ночь — время для отдыха и снов.

А из Нави восстали боги тёмные, что хранят память и покой, следят за тем, чтобы ничто не нарушало течения времени.

Морена — хозяйка зимы и ночи. Она встречает души у порога Нави, укрывает их своим холодным плащом, дарит забвение тем, кто слишком долго помнит о боли. Её снега покрывают землю, чтобы дать ей отдохнуть перед новой весной. Не злая она и не добрая — она просто делает своё дело, как и положено той, кто стоит на границе.

Чернобог — князь Нави. Он хранит равновесие, следя, чтобы свет не затмил тьму, а тьма не поглотила свет. Его имя пугает людей, но без него не было бы ни мудрости, ни покоя, ни той глубины, без которой жизнь становится плоской, как доска. Он справедлив, но не милостив. Он помнит всё, что забыто в Яви.

Кощей — страж за семью печатями. Он не бог, но сильнее многих богов. Он смотрит за тем, что не должно выходить за пределы Нави. Его царство — там, где кончается память и начинается вечность. Говорят, он бессмертен, но бессмертие его — не награда, а долг, от которого нельзя отказаться.

И жили боги в мирах, и каждый занимался своим делом. И было это так долго, что даже самые древние из них забыли, когда всё началось. И было это так недавно, что каждое утро мир рождается заново.

И не было между ними раздора, ибо каждый знал своё место. И не было между ними зависти, ибо каждый знал свою силу. И не было между ними войн, ибо они были едины — Славь, великое единство света и тьмы, жизни и смерти, начала и конца.

Так жили они многие лета.

Покуда однажды не закралась в сердце Чернобога мысль, что свет слишком силён, что тьма забыта, что время Прави пришло к концу. И поделился он той мыслью с Кашеем, стражем мёртвых. А Кашей, что старше многих богов, что видел рождение мира, усмехнулся и сказал:

— Не время ли нам подняться в Правь? Не время ли светлым напомнить, что без тьмы нет и света?

И замыслили они великое: собрать тёмное воинство, перейти границу, свергнуть светлых богов и погрузить Правь во мрак Нави, чтобы снова стало всё единым — как в самом начале, до того, как Род разделил тьму и свет.

И не знали они, или не хотели знать, что в том единстве был не порядок, а хаос.

Но Велес, мудрый странник, что ходит между мирами, прознал про заговор. В Навь он вхож, как в свой дом, и речи тёмные слышал, и замыслы чёрные видел. И поспешил он к светлым, чтобы предупредить о грядущей беде.

Верховные боги собрались на небесном чертоге. Перун, громовержец, сжимал свой топор так, что молнии сыпались из-под пальцев. Сварог, небесный кузнец, хмурил брови, и в глазах

его отражался огонь горна, в котором он ковал миры. Лада плакала, ибо не хотела войны между своими детьми. Дажьбог померк, и тень легла на его лицо.

— Не допустим, — сказал Перун, и голос его прокатился над мирами, как гром. — Не пройдёт тьма в Правь.

— Как остановить? — спросила Лада. — Не убивать же своих.

— Не убивать, — ответил Сварог. — Запечатать.

И решили они: не силой меча, не огнём войны, а древним заклятием отделить Правь от Нави, поставить между ними стену, которую не пробить ни молнией, ни колдовством. Чтобы свет остался светом, тьма — тьмой, и чтобы никогда они не смешались вновь.

Три дня и три ночи не гасил Сварог свой горн. Три дня и три ночи бил он молотом по наковальне, и искры летели звёздами в небо. И выковал он три печати — не железные, не каменные, а сотканые из самого порядка, из чистого света и глубокой тьмы, соединённых воедино.

Первая печать — на вход в Навь, чтобы тёмные не могли выйти. Вторая — на выход из Прави, чтобы светлые не могли пасть. Третья — между ними, чтобы никогда не смешались.

И призвали они Велеса, хранителя границ, и он взял печати в свои руки. И ударил по ним молнией небесной, что дал ему Перун, чтобы скрепить их навеки. И молния та была не разрушительной — связующей, ибо даже гром может служить не смерти, а жизни. И сковал Велес печати заклинанием древним, тем, что знал с начала времён.

А потом боги поняли: печати нельзя оставлять в Прави, ибо тёмные найдут их. Нельзя оставлять и в Нави, ибо там они будут под рукой у Чернобога. И решили они создать новый мир — посередине, между светом и тьмой, — и спрятать печати там, где ни свет, ни тьма не властны. Там, где живёт свободный дух. Там, где каждый может выбирать.

И приступили боги к творению.

Первым вышел Сварог. Он ударил молотом по небесной наковальне, и от удара того родилось твёрдое — земля, и жидкое — вода, и огненное — недра. Он поднял небесный свод, чтобы отделить землю от бездны, и утвердил его на четырёх ветрах. И назвал он этот мир Явью, ибо он стал явным, видимым, осязаемым.

Затем пришла Макошь, пряха судеб, богиня земли и урожая. Она простёрла руки над твёрдью, и там, где проходили её пальцы, выросли горы и долины. Она провела ладонью — и потекли реки. Она вздохнула — и поднялись леса. И укрыла она землю травой и цветами, чтобы не была она пуста и мертва.

Потом явился Дажьбог, податель света. Он привёз на своей золотой колеснице солнце и проложил ему путь по небу. И пока катилось солнце, сменяли друг друга день и ночь, тепло и холод, утро и вечер. И повелел Дажьбог луне сиять во тьме, чтобы и ночью мир не погружался в полный мрак.

Перун, громовержец, наполнил небо тучами и дождями. Он дал земле воду живую, чтобы питала она корни и поила зверей. Он рассек небеса молниями и пролил первый ливень, и от того ливня наполнились реки и озёра, а в низинах родились моря. И сказал Перун: «Отныне небо будет и ласковым, и грозным — как сама жизнь».

Велес, покровитель скота и мудрости, создал жизнь. Он слепил из глины первого зверя и вдохнул в него дыхание. Он вылепил первую птицу и бросил её в небо. Он сотворил рыбу и опустил в воду. А потом, когда мир уже наполнился тварями земными, водяными и воздушными, Велес взял горсть глины, смешанной с живой водой, и создал человека — по образу богов, но не равного им. И вложил в него дар выбирать, дар верить, дар сомневаться. И сказал Велес: «Будь хозяином этого мира. Но помни: ты не бог. И земля — не твоя игрушка».

Лада, мать всех матерей, одарила мир любовью. Она связала сердца, чтобы звери находили пару, чтобы птицы вили гнёзда, чтобы люди рождали детей. Она вплела в порядок вещей

нежность и ласку, чтобы жизнь не была только борьбой и выживанием. И там, где проходила Лада, расцветали сады и рождались песни.

И когда всё было создано — земля, небо, вода, звери, птицы, рыбы, деревья, травы и человек, — боги спрятали три печати в самом сердце этого нового мира.

И скрыла Явь печати внутри себя самой, жизнью навеки скрыв их от глаз всякого.

И поросли те места лесами, и покрылись травами, и встали над ними белые камни — не от мира сего, но в мире этом.

И с той поры стоят печати. И держат они равновесие. И не может тьма прорваться в свет, и свет не может затмить тьму. И живут люди в Яви, не зная, что между ними и богами — тонкая грань, за которой спрятана древняя война.

Так было. Так есть. Так будет, пока кто-нибудь не решится нарушить покой.

С той поры прошло много лет, и уж никто не помнит, когда ковались печати и где они находятся. Но легенда эта жива и передаётся из уст в уста — от бабушки к матери, от матери к дочери, от деда к внуку. Ибо что бы ни случилось, пока помнят люди, пока рассказывают сказки, пока дети слушают, раскрыв рты, — до тех пор и мир стоит на своём месте.

— Хватит на сегодня вам сказок, — сказала Агафья, поднимаясь с лавки. — А то спать плохо будете. Бегите домой, покуда родители не забеспокоились.

Марфа захлопнула тетрадку, Матвей сполз с лавки, натягивая рубаху, которая успела задрататься, пока он слушал, разинув рот.

— Бабушка, а завтра? — спросил он, уже стоя в дверях. — Завтра ещё расскажешь?

— Завтра — если будете хорошо себя вести, — строго сказала Агафья, но глаза её смеялись. — А теперь — марш!

Они выбежали на крыльцо, и ночь ударила им в лицо. Свежая, тёплая, полная запахов — сеном, мятой, речной водой, и ещё чем-то неуловимым, чем пахнет только летний вечер в деревне.

На улице уже почти стемнело. Над Ольховкой опускалась ночь — не сразу, как занавес, а медленно, крадучись, будто кто-то осторожно накрывал мир одеялом. Небо на западе ещё хранило полоску зари — багровую, золотую, последнюю. А на востоке уже загорались первые звёзды, робкие, едва заметные, как блёстки на тёмном бархате.

Избы стояли притихшие, усталые после долгого дня. Кое-где в окнах уже засветились огни — кто-то зажигал лучину, кто-то садился ужинать. Пахло дымком, парным молоком, свежеиспеченным хлебом. Где-то за околицей мычала корова, возвращавшаяся с пастбища, и её низкий, тягучий голос казался частью этого вечера, такой же привычный, как шелест листвы или журчание реки.

— Бежим! — крикнул Матвей и рванул с крыльца.

Марфа за ним, только пятки замелькали. Босиком по тёплой, прибитой за день пыли, мимо плетней, мимо лающих собак, мимо соседки, которая как раз вышла на крыльцо проветриться и только ахнула им вслед: — Ох, сорванцы!

Дом Веденских стоял чуть в стороне от главной деревенской улицы и когда дети подбежали к калитке, из трубы уже вился дымок — мать ставила ужин. В окнах горел свет, жёлтый, уютный, и на стекле проступали силуэты: мать на кухне, отец за столом, склонившийся над картой.

Марфа остановилась, переводя дух. Посмотрела на брата. Тот тоже смотрел на дом, и на лице его было что-то, чего она не могла понять — то ли радость, что родители дома, то ли... другое.

— Матвей, — спросила она тихо, — а как ты думаешь, наши родители знают про печати? Матвей пожал плечами, но глаза его стали серьёзными.

— Не знаю. Но папа всегда говорит, что хочет понять, как мир устроен. А бабушка говорит, что те, кто ищет правду... — он запнулся.

— Что те, кто ищет правду, могут найти то, что лучше не трогать, — закончила Марфа. Они помолчали. Где-то в траве застрекотал сверчок, ему ответил другой, третий — и вечер наполнился привычной, убаюкивающей музыкой.

— Пойдём, — сказал Матвей. — Мама ждать будет.

Они вбежали в дом, и их сразу окутало тепло, запах щей и свежего хлеба, и мамин голос: — Где вас носило? А ну мыть руки и за стол!

Отец поднял голову от карты. Увидел их — раскрасневшихся, с сияющими глазами — и улыбнулся.

— У Агафьи были? Сказки слушали?

— Ага! — выпалил Матвей, плюхаясь на лавку. — Она про Рода рассказывала! Про печати! И про то, как боги Правь от Нави отделили!

— И про то, что если печати сломать, то мир снова станет хаосом, — добавила Марфа, усаживаясь рядом.

Отец и мать переглянулись. И что-то такое было в их взгляде, что Марфа не поняла, а спросить не успела — мать уже ставила на стол миски, отец сворачивал карту, а за окном звёзды зажигались всё ярче, и ночь окончательно вступила в свои права.

В доме было тепло, уютно, пахло ужином и травами, которые мать всегда держала в пучках над печью.

— Это не больше чем просто старые легенды, — сказал отец, возвращаясь к своей миске. Он говорил спокойно, даже буднично, но Марфа заметила, как его пальцы на миг замерли, когда Матвей заговорил о печатях. — Бабушка Агафья хорошо рассказывает, но не стоит принимать всё за чистую монету. Реальный мир устроен немного иначе.

Марья подняла глаза от своей тарелки, усмехнулась. В её глазах, тёмных, живых, всегда была какая-то хитринка, будто она знала чуть больше, чем говорила вслух.

— А ты, Семён, скажешь, что мир держится на законах физики и геологии? — спросила она, поддевая ложкой кашу. — На том, что можно измерить и взвесить?

— Ну а на чём же ещё? — отец откинулся на лавке, сложил руки на груди, но глаза его смеялись. — Вот ты мне скажи, Марья, что держит небо? Гвозди? А земля — она на чём стоит? На трёх китах, как в старых книгах пишут?

— На трёх печатях, — вставил Матвей с набитым ртом.

— Ешь, не говори, — мать легонько стукнула его по затылку. — Печати, киты, черепахи... Всё это красивые сказки, чтобы объяснить то, что объяснить нельзя.

— А можно объяснить? — спросила Марфа, отодвигая пустую миску. Она любила, когда отец рассказывал про свои путешествия.

— Можно, — отец пододвинул к себе карту, которую только что свернул, и снова развернул её краешек. — Вот, например, в прошлом году, когда мы с матерью ходили на северные болота, нашли мы там странное место. Говорят, там когда-то было древнее капище, где волхвы камням молились. Местные нас предупреждали: не ходите, место гиблое, там время течёт не так, как надо.

— И как оно текло? — Матвей подался вперёд.

— А никак, — усмехнулся отец. — Камни как камни. Мох как мох. Только компас там бесился, стрелка крутилась, как угорелая. Но это, — он поднял палец, — объясняется магнитными аномалиями. Есть такие места на земле, где железная руда близко к поверхности подходит. Вот стрелка и пляшет.

— А ты сам-то веришь в это? — спросила Марфа, глядя отцу прямо в глаза. — В магнитные аномалии?

Семён помолчал. Посмотрел на жену, потом на детей, на тёмное окно, за которым сгустилась ночь.

— Знаешь, — сказал он негромко, — есть вещи, которые учёные называют аномалиями. А старые люди называют знаками. И те, и другие по-своему правы. Просто смотрят на одно и то же с разных сторон.

— А ты с какой смотришь? — спросил Матвей.

— Я? — отец улыбнулся, и в улыбке его было что-то тёплое, почти детское. — Я смотрю так, чтобы домой вернуться. Чтобы вы были сыты, здоровы, чтобы мать ваша не ворчала, что мы опять пропадем неизвестно где.

— Я не ворчу, — сказала мать, но тут же поправилась: — Ну, иногда ворчу.

Все засмеялись. Даже сверчки за окном, казалось, притихли, прислушиваясь к этому смеху.

Марфа встала из-за стола, подошла к окну. На стекле оседала ночная прохлада, и в темноте, там, где кончалась улица и начинался лес, блестели звёзды — яркие, чистые, словно кто-то рассыпал горсть серебряных монет.

— А что там, за лесом? — спросила она, не оборачиваясь. — За самым дальним, куда вы ходите?

— Там тоже лес, — ответил отец. — А за лесом — болота. А за болотами — горы. А за горами — море.

— И везде люди живут?

— Везде, доченька. Люди везде живут. И везде они задают одни и те же вопросы: откуда мы пришли, куда идём, что держит небо и землю.

— А ответы?

— Ответы каждый находит сам.

Марфа повернулась от окна. Отец свернул карту, мать убирала со стола. Матвей уже клевал носом, привалившись к плечу отца.

— Иди-ка ты спать, путешественник, — сказал Семён, поднимая сына на руки. — Завтра с новыми силами будешь мир познавать.

Матвей только мотнул головой и тут же уткнулся отцу в плечо.

— А вы? — спросил он сонно. — Вы опять уедете?

— Не скоро, — ответила мать, укрывая его одеялом. — Мы с вами побудем. Ещё целая неделя впереди.

— Целая? — переспросил Матвей, уже закрывая глаза.

— Целая, — подтвердил отец.

Марфа легла на свою лавку, натянула одеяло до самого носа. Отец задул свечу, и комната погрузилась в темноту. Только за окном ещё теплился свет — луна поднималась над лесом, серебряная, тихая.

— Пап, — позвала Марфа в темноту.

— М?

— А ты веришь в печати?

— Я верю, — сказал отец наконец, — что мир устроен сложнее, чем мы можем себе представить. И что в каждой сказке есть доля правды. Но главная правда, Марфа, не в том, где спрятаны печати. А в том, что мы сейчас вместе. И что завтра будем вместе.

— А потом?

— А потом... потом посмотрим.

Отец замолчал. Мать вздохнула — тихо, едва слышно. Марфа закрыла глаза.

Легенда 2

Дивьи люди.

Послеобеденное солнце уже клонилось к закату, но небо ещё держало тепло. В тени дома Веденских было свежо, а на солнцепёке — душно. Пахло скошенной травой, нагретой древесиной и речной водой, которую Марья вылила под корень старой яблони.

Матвей стоял у колоды, сжимая топор обеими руками. Поленица за его спиной росла медленно — брёвна ложились неровно, щепки летели не туда, куда надо, и после каждого удара топор застревал в дереве, будто нехотя.

Семён смотрел на сына из-под руки, шурясь на солнце.

— Тяжело? — спросил он без насмешки, просто отмечая факт.

— Нормально, — буркнул Матвей и со всей силы рубанул по чурбаку.

Чурбак не раскололся. Топор застрял ровно посередине, и Матвей повис на топорщице, пытаясь его вытащить.

Семён усмехнулся, подошёл, положил свою ладонь поверх Матвеевой. Вместе они выдернули топор.

— Слабо идёт, — сказал Семён, оглядывая неровный спил. — Не от топора зависит, сынок. От того, как держишь.

— Я держу как учил.

— Держишь, — согласился отец. — Но не чувствуешь. Топор — это продолжение руки. Ты бьёшь, будто он тебе мешает. А надо бить, будто он — часть тебя.

Матвей промолчал, потирая ладони, на которых уже наливались первые мозоли.

Семён присел на чурбак, достал из кармана кисет, но не закурил — просто помял в пальцах.

— Кузьме бы тебе пару уроков дать, — сказал он будто между делом.

Матвей поднял голову.

— Кузьме? Он никого не берёт.

— Это ты так думаешь, — отец усмехнулся. — А ты просил?

— Нет.

— Вот и не просил. А я просил — когда-то. Давно, ещё до вашего с Марфой рождения. Хотел себе подкову хорошую сковать, чтоб в дальних походах не подводила. Пришёл к нему, говорю: «Научи». А он посмотрел на меня, помолчал и сказал: «Руки у тебя не для молота. Иди своей дорогой».

— И ты ушел?

— Ушёл. И правильно сделал. Потому что Кузьма видит человека насквозь. Ему не нужен ученик, который не будет гореть делом. Ему нужен тот, кто живёт этим.

Матвей опустил глаза.

— А я?

— А я не знаю, — честно сказал Семён. — Ты сам это узнаешь. Но попробовать стоит. Худшее, что может случиться — он скажет «нет». А лучшее...

— Что лучше?

— Лучшее — он скажет «да». И ты научишься тому, что не в книгах написано.

Матвей молчал. Ковырял носком сапога щепку.

— Он же нелюдимый, — наконец выдавил он. — Замкнутый. С ним никто не разговаривает. Даже Артём к нему боится подойти.

— Артём — дурак, — безжалостно сказал Семён. — Артём считает, что ему всё должно само в руки упасть. А Кузьма не для таких. Кузьма для тех, кто готов учиться. И потом, ты его боишься, потому что не знаешь. А знал бы — не боялся бы.

— А ты его знаешь?

Семён помолчал. Посмотрел куда-то в сторону леса, где дымилась труба кузницы.

— Я знаю, что он три дня не спал, когда у Егора лошадь захромала. Сделал ей подковы особенные, такие, что она потом ещё десять лет бегала. Я знаю, что он не берёт платы с вдов, а сам идёт к ним и чинит всё, что сломано. Я знаю, что он, когда твоя мать болела, принёс ей отвар из трав, которые сам в лесу собирал. Не лекарь, а выходил. И знаю, что он однажды в грозу вышел из кузницы и пошёл в поле, потому что увидел, как молния ударила в старую сосну, и хотел забрать то, что осталось.

— Что?

— Оплавленный камень. Кусок земли, который гром превратил в стекло. Он такие вещи собирает. Говорит, в них сила. Для настоящего дела.

Матвей поднял топор, покрутил в руках.

— Думаете, он возьмёт меня?

— Не знаю, — повторил Семён. — Но если не попробуешь — не узнаешь. А кузнецы, Матвей, не вечные. Кузьма не молодеет. А деревне кузнец всегда нужен. Будешь ты, или кто другой — это уж как сложится.

— Я попробую, — тихо сказал Матвей. — Завтра.

— Завтра так завтра, — кивнул отец.

И в этот момент из дома донёсся голос Марьи:

— Семён! Матвей! Остынет всё! Идите мыть руки!

Семён поднялся, отряхнул штаны.

— Слышишь? Мать зовёт. Идём.

Они пошли к дому. Матвей обернулся на поленницу — неровную, кривую, недоделанную. И вдруг понял, что это, может быть, последняя поленница, которую он складывает не как кузнец.

После ужина, когда солнце уже село и в избе стало прохладно, Марфа и Матвей, переодевшись в сухое, пошли к Агафье. Дверь в её избу была приоткрыта, и из неё тянуло густым, пряным запахом — полынью, мятой, зверобоем и ещё чем-то неуловимым, чем пахнет только в бабкиных домах, где каждая вещь помнит сотни прожитых вечеров.

Внутри было темно, но уютно. Лучина горела на столе, отбрасывая пляшущие тени на бревенчатые стены, на полки с глиняными горшками, на связки трав, развешанные под потолком. Они висели вниз головками — ромашка, душица, чабрец, — и казалось, что в избе вырос целый луг, только перевёрнутый вверх корнями. Трава сушилась, и воздух был таким густым, что его можно было пить.

Агафья сидела за столом, перебирая пучки. Пальцы её, узловатые, но удивительно ловкие, отделяли нужное от ненужного, перекладывали, приноживались, откладывали в сторону. Она даже не подняла головы, когда дети вошли.

— Чай, не спится? — спросила она, не оборачиваясь.

— Не спится, — ответил Матвей, усаживаясь на лавку. Марфа примостилась рядом, положила на колени тетрадь.

— Бабушка, — начал Матвей, набравшись смелости, — расскажите что-нибудь. Про кузнецов. Про тех, кто мог ковать не просто железо, а... ну, настоящее.

Агафья подняла глаза. В свете лучины они блеснули — то ли жёлтым, то ли зелёным, как у старого леса.

— Настоящее, говоришь? — переспросила она. — А что, по-твоему, настоящее?

— Ну, такое, чтобы. чтобы не просто вещь, а... с силой.

— А ты откуда знаешь про такое? — прищурилась Агафья. — Кузьма рассказал?

— Отец, — признался Матвей. — Он сказал, что Кузьма после удара молний собирает остатки и куёт из них всякое.

— Ах, Семён, — покачала головой Агафья. — Язык без костей. Ладно, садитесь. Слушайте.

Она отложила травы, сложила руки на столе. Лучина дрогнула, и тени на стенах замерли, будто тоже приготовились слушать.

— В глубокой древности, — начала Агафья голосом, который вдруг стал глубже, древнее, — за Каменным Поясом, в недрах великих гор, жил народ. Не люди, не духи, а дивьи люди. Так их прозвали за то, что диво они творили — небывалое, невиданное, сказочное.

Жили они в горах. Не на горах, а внутри. Вход в их жилища был скрыт от глаз — узкая расселина, заваленная камнями, или пещера, за которой открывались хрустальные залы. А если не знать, где искать, можно было сто лет пройти мимо и не заметить.

Города их были высечены в скалах. Не из дерева, не из глины, а из самого камня — прочного, тёплого, живого. Улицы уходили вглубь, и над ними не было неба, только свод из кварца и слюды, в котором мерцали огни — не свечи и не лучины, а камни-самоцветы, что светились сами по себе.

Шли годы, столетия, тысячелетия. Дивьи люди не знали ни войн, ни голода, ибо горы кормили их рудой, а реки — рыбой. Но главным их богатством было не золото и не серебро, а мастерство. Они умели ковать такое железо, что даже боги заглядывались на их работу.

— А как они выглядели, бабушка? — спросила Марфа, не отрывая пера от бумаги.

— А по-разному, — ответила Агафья. — Не было у них одного облика. Кто из меди с серебром дружил — тот был светловолосым и светлоглазым. Кто с железом работал — тот темнел лицом и руками, будто сама копоть въедалась в кожу. Кто с золотом — тот становился похож на самого Сварога, лучезарный, светлый.

Но было в них одно общее — глаза. Глаза у дивьих людей были не как у нас. В них горел огонь — не отражённый, а собственный, глубинный, как расплавленный металл. Кто в такие глаза посмотрит, тот сразу поймёт: перед ним не простой человек. Мастер.

Роста они были невысокого, но широкие в плечах. Руки — до колен, с узловатыми пальцами, на которых не зарастали мозоли. Ноги — крепкие, короткие, чтобы удобно было по каменным лестницам ходить. Бороды носили длинные, заплетённые в косы, а в косы вплетали металлические нити — серебряные, золотые, медные. У кого больше нитей, тот мастер знатнее.

Одевались просто: кожаные фартуки, рубахи из грубого льна, сапоги с железными носами, чтобы камни не бояться. И всегда при себе — молот. Не для битвы, а для работы.

Маленький, ручной, с которым они не расставались ни в кузнице, ни дома, ни даже в гостях. Говорили, что пока молот при тебе — ты мастер. Потеряешь молот — потеряешь дар.

Жили они кланами — по виду металла, с которым работали. Клан Медников, клан Серебряников, клан Железников. А над ними — Совет Старейшин, куда входили самые уважаемые мастера, те, кто работал с громовым железом.

— А что это за железо? — спросил Матвей.

— А вот про него — отдельный сказ, — ответила Агафья. — Долгий. На сегодня хватит.

— Бабушка, ну пожалуйста! — взмолились дети.

— Ну что с вами делать, — усмехнулась Агафья. — Ладно. Слушайте дальше. Но завтра уже не просите.

Она перевела дух, подбросила в лучину щепку, и та вспыхнула ярче.

И Марфа, и Матвей затаили дыхание.

Агафья помолчала, собираясь с мыслями. Лучина тихонько потрескивала, отбрасывая на стены пляшущие тени связок трав. Марфа замерла с пером наготове, Матвей подался вперёд, боясь пропустить хоть слово.

— Громовое железо, — начала старуха, и голос её стал глуше, будто из-под земли доносился, — это не то, что в земле лежит. Не руда, не самородок. Оно рождается в грозу.

— Как? — выдохнул Матвей.

— А вот так, — Агафья подняла палец. — Ударит молния в песок, в камень, в глину — и оплавляет их в одно целое. Сплав небесного огня с земной плотью. И остаётся на том месте кусок стекла, металла, камня — всего вместе. Чёрный, с синими прожилками, как синяк после удара. Дивьи люди называли его громовик.

Марфа быстро записывала, перо скрипело по бумаге.

— А как же его добывают? — спросила она.

— А никак, — усмехнулась Агафья. — Ждут. Дивьи люди знали, когда быть грозе. Выходили в поле, в горы, и смотрели. И когда молния била, они шли на то место — не боялись, не прятались. Собирали оплавленные камни в мешки из бычьей кожи и уносили в кузницы.

— А сами они не боялись, что молния в них попадёт? — спросил Матвей.

— Не боялись, — ответила Агафья. — Потому что верили: гроза — это кузница небесная. Перун куёт в ней свои стрелы, а они, дивьи люди, лишь подмастерья. Кто боится огня, тот не кузнец.

Она перевела дух.

— А дальше начиналось самое тайное. То, что от отца к сыну передавалось, от матери к дочери. То, что нельзя было записывать и пересказывать чужим.

— А мы чужие? — тихо спросила Марфа.

Агафья посмотрела на неё долгим, тёмным взглядом.

— Вы — нет, — сказала она. — Вы свои. Но слушайте и запоминайте.

— Громовик — он неподатливый. Обычным молотом его не взять. Дивьи люди ковали его в ночь перед грозой, когда небо ещё тихое, но воздух уже звенит. В кузнице не должно быть ни одного лишнего звука. Ни слова, ни вздоха, ни скрипа. Только молот и наковальня.

— А наковальня у них была особая, — добавила старуха, прищурившись. — Из метеоритного железа. Того, что с неба упало. Говорят, Сварог сам подарил её первому кузнецу.

— И как они ковали? — спросил Матвей.

— А так, что каждый удар должен был попадать в одно и то же место. Тысяча ударов, десять тысяч — пока громовик не начинал светиться. Сначала тускло, потом ярче. А когда он загорался синим огнём — значит, готов. Тогда мастер брал его клещами, опускал в родниковую воду и шептал заклинание.

— Заклинание? — переспросила Марфа.

— Не заклинание даже, а имя, — тихо сказала Агафья. — Имя того, для кого куётся оружие. Или того, кому оно достанется. Потому что громовое железо — оно живое. Оно должно знать, чью руку будет греть. Иначе не примет.

— А свойства? — спросил Матвей. — Что оно может?

Агафья усмехнулась.

— Спросил, как отрубил, — сказала она. — Ну слушай.

— Громовое оружие не тупится. Совсем. Хоть десять лет руби, хоть сто — лезвие остаётся острым, как в первый день. И не ржавеет, даже в болоте, даже в солёной воде.

— Светится в темноте. Тускло, синим светом — как молния, что в нём застыла. И если рядом нечисть — начинает гудеть. Тихо так, едва слышно. А человек этого гула не слышит, только рукой чувствует — вибрацию.

— И ранит не только тело, — добавила она, понизив голос. — А самую суть. Тварей навших, что обычным железом не берёшь, громовое сечёт, как масло. И не воскреснут они после такого удара.

Навсегда уйдут в небытие.

Марфа выдохнула, не заметив, что задержала дыхание. Матвей сидел не шевелясь.

— Называли таких кузнецов Громовыми, — продолжала Агафья. — Это была высшая степень мастерства. Не каждый мог её достичь, даже из дивьих людей. Ибо мало уметь ковать — нужно, чтобы металл тебя признал. А для этого следовало пройти испытания Хозяйки Медной горы.

— Кто она? — спросила Марфа. — Богиня?

— Не богиня, — ответила старуха. — И не человек. Она — сама гора. Та, что помнит, как Сварог ковал землю. Она древнее любого бога, что сейчас на небесах сидят. И справедливее. И суровее.

Матвей подался вперёд.

— Живёт Хозяйка в самой глубине Каменного Пояса, там, где даже дивьи люди не ходили. Дворец у неё из хрусталя и малахита, стены самоцветами выложены, а под ногами — не камень, а расплавленная медь, что течёт, как вода. И никто не может войти туда без её зова. И никто не может выйти, если она не захочет.

— А как она выглядит? — спросил Матвей.

— А по-разному, — усмехнулась Агафья. — Может явиться старой нищенкой в лохмотьях, чтобы проверить, не пройдёшь ли мимо, не обернёшься. Может прийти красавицей — волосы — змеи, глаза — изумруды, платье — медная чешуя. Может стать каменной глыбой, из которой торчат жилы руды, и говорить голосом, от которого земля дрожит.

— И что же она делала с кузнецами? — спросила Марфа.

— Испытывала, — ответила Агафья. — Не каждого, конечно. Только тех, в ком видела искру. Только тех, кто мог стать Громовым.

Мир помнит одного такого громового кузнеца. Имя ему было Святогор. Не тот великан, что в былинах поётся, а простой кузнец из клана медных мастеров. Жил он в небольшом селеении у подножия Каменного Пояса, где горы уже не вздымались к небу, а плавно переходили в холмы, поросшие сосной и берёзой.

— А почему Святогор? — спросил Матвей. — Это же имя богатыря.

— Потому что сила в нём была не богатырская, а кузнецкая, — ответила Агафья. — Не мышцы, а руки. И дар, который он получил от предков, был так велик, что его прозвали в честь древнего великана.

Был Святогор невысок ростом, но широк в плечах, как и все дивьи люди. Руки его, вечно в копоты и мелких ожогах, помнили тепло десятков тысяч ударов. Бороду он носил длинную, заплетённую в тугую косу, и вплетал в неё медную нить — знак своего клана. Глаза его были цвета расплавленной меди — жёлтые, с красными искрами, и глядели они на мир спокойно, без хитрости и без страха.

Быт его был прост до суровости. Жил он в избе, рубленной из вековых лиственниц, у самой кромки леса. Рядом стояла кузница — невеликая, но крепкая, сложенная из дикого камня и обмазанная глиной. Крышу покрывала медная чешуя, которая на солнце горела, как живой огонь. Внутри всегда пахло гарью, металлом и чем-то сладковатым — смолой, которой Святогор пропитывал древесный уголь.

Ел он просто: кашу из чугунок, хлеб, испечённый в русской печи, и запивал всё родниковой водой, которую носил из ближнего оврага. Не пил хмельного, не гнушался, но и не искал. Говорил: «Хмель расслабляет руку. А рука у кузнеца должна быть твёрдой».

Спал на деревянной лавке, укрывшись овчиной, и просыпался затемно, чтобы успеть разжечь горн до первых петухов. Жены у него не было. «Кузница — моя жена, молот — мой сын, наковальня — моя дочь», — усмеялся он, когда его спрашивали о семье.

И вот однажды, в канун летнего солнцестояния, когда кузница гудела от жара, а за окном сгущались синие сумерки, на пороге появилась Она.

— Ты ли Святогор? — спросила незнакомка.

Он поднял глаза от наковальни. Перед ним стояла старуха. В лохмотьях, с клюкой, лицо в морщинах, как печёное яблоко.

— Я, — ответил он. — Чего тебе, бабушка?

— Пусти переночевать, — сказала старуха. — Устала я, замёрзла. А до дома далеко.

Святогор не задумался ни на миг. Помог ей взобраться на крыльцо, усадил на лавку, укрыл своим тулупом. Поставил перед ней миску горячей каши, налил кружку молока. Старуха ела медленно, чавкала, хлеб крошила на стол, но он не сказал ни слова.

— А что же ты не спрашиваешь, кто я? — спросила она, отодвигая пустую миску.

— Какая разница? — пожал плечами Святогор. — Ты устала, ты голодна.

Остальное не моё дело.

Старуха усмехнулась, и в этой усмешке мелькнуло что-то древнее, нечеловеческое.

— Добрый ты, — сказала она. — А доброту мои сестры не любят. Они хитрых ищут, чтобы наказать. А я ищу добрых, чтобы наградить.

И тут же на глазах у Святослава старуха преобразилась. Лохмотья стали парчой, клюка — золотым посохом, морщины разгладились, и перед ним стояла уже не нищенка, а Хозяйка Медной горы — прекрасная, как летняя заря, и страшная, как горный обвал.

— Я пришла испытать тебя, кузнец, — сказала она. — И первое испытание ты прошёл.

— Какое? — удивился Святогор.

— А то, что не прогнал старуху. Не пожалел для неё тепла и хлеба. Силу и терпение я проверяю позже. А сначала я проверяю сердце. И твоё сердце, кузнец, чисто.

Она шагнула в кузницу, и своды осветились её светом. Святогор опустил на колени, но Хозяйка подняла его.

— Не надо, — сказала она. — Ты мастер. Мастера не кланяются никому, кроме своего дела. А теперь — слушай меня.

Она провела рукой по горну, и тот вспыхнул синим пламенем.

— Завтра, — сказала она, — я приду снова. И ты выкуешь мне подкову. Лёгкую, как пёрышко, и прочную, как скала. А послезавтра — клинок. Самый дорогой, какой сможешь. А на третий день... на третий день я предложу тебе уйти со мной в гору. И ты выберешь. Но помни: от твоего выбора зависит не только твоя судьба.

— А чья же? — спросил Святогор.

— Всех, кто после тебя придёт в этот мир, — ответила Хозяйка.

И исчезла, растворилась в сумерках, оставив после себя только запах озона и горячей меди.

Святогор долго стоял в опустевшей кузнице, глядя на синее пламя, которое горело ровно, не требуя угля.

— Ну что ж, — сказал он тихо. — Завтра так завтра.

И принялся за работу.

На следующее утро Святогор встал затемно. Не потому, что не спал — спал он крепко, как медведь в берлоге, — а потому, что чуял: день будет необычным.

Он разжёл горн, и синее пламя, оставшееся с вечера, благодарно лизнуло угли. В кузнице стало жарко, уютно, будто сама Хозяйка присела на пороге и смотрела.

Святогор взял кусок самой лучшей меди — не той, что с примесями, а чистой, красной, как утренняя заря. Положил её на наковальню, поднял молот и ударил.

Первое испытание. Подкова

Ковал он долго. Не торопясь, не суетясь. Каждый удар ложился точно в то место, куда надо. Медь стонала, но не сопротивлялась — она будто сама тянулась к молоту, просила форму.

К полудню подкова была готова. Легкая, как пёрышко, и прочная, как скала. Святогор подул на неё, обжёг пальцы, но не отнял.

— Хороша, — сказал он сам себе. — Хозяйке понравится.

В полдень она явилась. Уже не старухой, а девой — в платье из медной чешуи, с венцом из малахита на голове.

— Показывай, — сказала она.

Святогор протянул подкову. Она взяла её, подбросила на ладони, поднесла к свету.

— Лёгкая, — сказала она. — А прочная?

— Прочная, — кивнул кузнец.

Хозяйка вышла из кузницы, подозвала невидимого коня. Тот заржал так, что заложило уши. Она подковала его сама — ловко, будто всю жизнь этим занималась. Конь ударил копытом о камень, высек искру. Подкова не согнулась, не треснула.

— Хороша, — повторила Хозяйка. — Принимаю. Жди завтра.

И исчезла.

Второе испытание. Клинок

Ночью Святогор не спал. Думал. Что значит — «самый дорогой клинок»? Дорогой по цене? Или по сердцу?

К утру он решил.

Достал из тайника кусок громового железа — тот самый, что хранил для особого случая. Положил на наковальню, раздул горн до белого каления.

И начал ковать.

Не так, как вчера — спокойно и размеренно. А будто сама жизнь вкладывалась в каждый удар. Он не считал удары, не смотрел на время, не чувствовал ни голода, ни жажды. Только металл, только огонь, только молот.

К вечеру следующего дня клинок был готов. Не украшенный самоцветами, не покрытый узорами из лунного серебра. Простой, тёмный, с едва заметными синими прожилками — как сама память о грозе.

Хозяйка явилась на закате. Взяла клинок, повертела в руках, поднесла к глазам.

— Что же ты его не украсил? — спросила она. — Другие мастера золотом покрывают, серебром инкрустируют. А ты?

— Красота не в украшениях, — ответил Святогор.

— Красота в том, для чего вещь сделана. Этот клинок не для парада. Он для дела.

Хозяйка усмехнулась. Полоснула лезвием по воздуху, и воздух зазвенел, будто струна. Потом по камню — камень раскололся пополам. Потом по железной полосе — та упала, перерубленная надвое.

— Хорош, — сказала она. — Принимаю. Завтра — последнее испытание.

Третье испытание. Выбор

На третий день Святогор не ковал. Сидел на крыльце, смотрел на горы. Знал, что Хозяйка придёт с предложением, от которого трудно отказаться.

Она пришла утром. Уже не старухой и не девой — а царицей. В короне из самоцветов, в мантии из медной парчи, с посохом из цельного малахита.

— Ну, кузнец, — сказала она. — Выбирай. Пойдёшь со мной в гору? Станешь моим мужем, моим слугой, моим помощником. Будешь жить в роскоши, не знать ни старости, ни болезней. Твоя кузница будет из чистого золота, а молот — из звёздного железа. Все секреты гор откроются тебе. И вечность. Вечность, чтобы ковать и совершенствоваться.

Святогор долго молчал. Потом поднял на неё глаза — спокойные, без страха, без зависти.

— Спасибо за честь, Хозяйка, — сказал он. — Но я останусь здесь.

— Почему? — спросила она.

— Потому что моё место в кузнице, среди людей. Потому что не я один нуждаюсь в ремесле. Мои внуки, правнуки, их дети — все они будут брать в руки молот. И если я уйду с тобой, кто их научит?

Хозяйка помолчала. В глазах её блеснуло что-то — то ли гнев, то ли уважение.

— Ты знаешь, от чего отказываешься? — спросила она.

— Знаю, — ответил Святогор. — Но есть вещи дороже вечности.

— Какие же?

— Долг, — сказал кузнец. — Любовь. Память.

Хозяйка долго смотрела на него. Потом кивнула.

— Ты достоин, — сказала она. — Бери громовое железо. Куй для своих внуков. Учи их. А я... я буду наблюдать. И когда придёт время, я приду снова. Не к тебе — к твоим потомкам.

Она развернулась и пошла к горам. Но на полпути остановилась.

— Святогор, — позвала она.

— Что?

— Тот клинок, что ты сковал... как ты его назовёшь?

— Не называл ещё, — признался кузнец. — Может, судьба назовёт. Может, тот, кому он достанется.

Хозяйка усмехнулась и исчезла.

И ковал Святогор для своих внуков, а внуки — для своих внуков. Так шли года и столетия. Клинок, выкованный когда-то для Хозяйки, переходил из рук в руки, от отца к сыну, от матери к дочери. Его не продавали и не дарили — он сам выбирал, кому лечь в ладонь.

— И сейчас куют? — спросил Матвей.

— Сейчас? — Агафья вздохнула, и этот вздох был долгим, как горная тропа. — Сейчас, говорят, в горах ничего не осталось. Сгинули дивьи люди. Исчезли, будто их и не было.

— Как сгинули? — выдохнула Марфа, откладывая перо.

— А так, — старуха прищурилась, глядя куда-то в угол, где тени плясали на стенах. — Сгубила их не чужая сила, не война с тёмными, не голод и не мор. Сгубила их собственная алчность и гордыня.

Долго жили дивьи люди в ладу с горами. Но чем больше они узнавали секретов, тем сильнее становилась их гордость. Каждый мастер считал себя лучше других. Каждый клан тянул одеяло на себя. Медники говорили, что их металл самый благородный. Железники — что самый прочный. Серебряники — что самый чистый. Золотари — что самый ценный.

И забыли они заветы предков: что не в металле дело, а в руках. Не в богатстве, а в чистоте сердца.

— И что же случилось? — спросил Матвей.

— А то и случилось, — Агафья понизила голос, — что перестали они делиться знаниями. Перестали помогать друг другу. Каждый прятал свои секреты, как вор прячет награбное. Мастера перестали брать учеников, боясь, что те превзойдут учителей. Отцы недоговаривали сыновьям, чтобы те не стали сильнее. И пошла меж ними вражда, и началась война кланов.

— Война? — испуганно переспросила Марфа.

— Самая страшная, — кивнула Агафья. — Не мечами и копьями воевали — умением. Кто лучше сковал, кто хитрее придумал, кто больше руды добыл. Но умение, помноженное на злобу, становится проклятием. Их кузницы гудели день и ночь, но в тех кузницах уже не было жизни. Была только гордыня.

И тогда Хозяйка Медной горы явилась в последний раз. Не к одному — ко всем. Собрала старейшин на высокой скале и сказала:

— Вы недостойны моего дара. Вы забыли, что металл — это не золото и серебро, а жизнь. Вы забыли, что кузнец — не бог, а слуга. Прощайте.

Она взмахнула рукой — и руды в горах превратились в простой камень. Громовое железо перестало рождаться. А те, кто не утратил чистоты, — кто помнил заветы предков, кто не участвовал в распрях, — те услышали зов Хозяйки.

— И что они сделали? — спросил Матвей.

— Они ушли, — просто ответила Агафья. — В глубину скал, во владения Хозяйки. Там они куют оружие для неё и ждут часа, когда мир снова будет нуждаться в их даре. Говорят, они до сих пор там — в хрустальных залах, при свете самоцветов. Не стареют, не умирают, но и не живут. Просто ждут.

— А те, кто остался? — спросила Марфа.

— А те, кто остался, — голос Агафьи стал тише, — были наказаны Хозяйкой. Она превратила их в камни. До сих пор в горах можно найти скалы, похожие на людей — замёрзших кузнецов с молотами в руках. И если подойти близко, можно услышать, как внутри них звенит металл. Это их души до сих пор пытаются ковать.

— Навсегда? — прошептал Матвей.

— Навсегда, — кивнула Агафья. — Пока кто-нибудь не придёт и не вспомнит о них. Но кто сейчас помнит о дивных людях? Легенды живут, а людей нет.

Она помолчала. Лучина догорела почти до конца, и тени на стенах замерли.

— Так сгинул народ. Не от меча и не от стрелы, а от собственной гордыни. И теперь только легенды напоминают о том, что когда-то в горах жили мастера, которые ковали для богов.

— А Кузьма? — тихо спросил Матвей. — Он из них?

Агафья посмотрела на него долгим, тёмным взглядом.

— Кузьма, — сказала она, — это ветвь того самого Святогора, что не ушёл в гору и не стал камнем. Он помнит. Но говорить об этом не любит. И если ты придёшь к нему завтра, не спрашивай про легенды. Спроси про молот. Он тебе сам всё расскажет, если сочтёт нужным.

Матвей кивнул. Встал, потянул Марфу за руку.

— Спокойной ночи, бабушка, — сказали они хором.

— Спокойной ночи, — ответила Агафья. — И помните: не в металле сила, а в том, кто его куёт.

Легенда 3

Мать Земля и её дети.

Утро было тихим, росным, пахнущим мятой и нагретой листвой. Марья разбудила Марфу затемно, когда за окном ещё только серело, а петухи перекликались на всю деревню.

— Вставай, доченька, — сказала она, касаясь плеча дочери. — Сегодня особенный день. Пойдём в лес, я покажу тебе то, что знала моя мать, а ей — её мать. Это знание древнее, и передаётся оно от женщины к женщине.

Марфа села на лавке, протирая глаза. За окном уже суетился Матвей, собираясь к Кузьме, но её ждало другое — тихое, тайное, женское.

Они вышли из дома, когда солнце только начинало подниматься над лесом. Марья несла берестяную корзину и льняной мешочек. Марфа — свою тетрадку, в которую теперь записывала не только Агафьины сказки, но и всё, чему учила мать.

Лес встретил их влажной прохладой. Роса тяжело лежала на траве, на листьях, на паутине, которая тянулась между ветвями, как серебряные нити.

— Смотри, — Марья остановилась у первой полянки. — Земля сегодня отдыхает. Ещё недавно был Симонов день, Именины Земли. В этот день, говорят, грех пахать и боронить — земля-именинница, ей нужен покой. Зато самое время собирать травы. На Симона Зилота зелье у болота собирают.

Она опустила на корточки, провела рукой по траве.

— Раньше, до крещения Руси, наши предки почитали Мать Сыру Землю как божество. Не идола ей ставили, не храмы строили — она и так всегда под ногами, всегда рядом. Ей кланялись, с неё клятву брали. В спорах о земле человек клал себе на голову кусок дёрна и шёл по меже — считалось, что если он обманывает, земля его раздавит.

Марфа слушала, раскрыв рот.

— А если человек уезжал далеко, он брал с собой горсть родной земли. Заворачивал в чистый платок или в ладанку и хранил как святыню. Эта земля защищала в чужой стороне и напоминала о доме.

Она протянула Марфе маленький холщовый мешочек.

— Вот, держи. Здесь земля с нашего двора. Всегда носи с собой, когда уходишь далеко. Она — твоя память и твоя защита.

Марфа взяла мешочек, прижала к груди.

— А как же травы, мама? Почему их собирают именно сейчас?

— Потому что земля наделяет их силой, — ответила Марья. — В Симонов день, на Именины Земли, травы обретают особую чудодейственную силу. Но и в другие дни их можно собирать, если знаешь правила.

Она подошла к кусту зверобоя с яркими жёлтыми цветами.

— Вот это зверобой. Он от девяноста девяти болезней помогает. И дом защищает — если повесить пучок над дверью, злые люди не страшны. А собранный на Ивана Купалу он особенно силён.

Марфа осторожно коснулась жёлтых лепестков.

— Его собирают, когда солнце уже высоко, до полудня. Пока день прибывает, чтобы и сила прибывала. Срывай только те цветы, которые полностью раскрылись, и не вырывай с корнем — земля должна иметь шанс восстановиться.

Она положила несколько стеблей в корзину.

— А вот это полынь, — Марья показала на серебристые листья. — Горькая, но сильная. Отводит нечисть, оберегает от сглаза. Её пучки вешали над дверью, а в Иванов день собирали особую полынь, с заговорами.

— А как её правильно собирать?

— Собирают полынь на утренней заре, пока роса не высохла. Срывают и говорят: «Как ты, полынь, горька, так отгони от меня всякую горесть и напасть». Потом сушат в тени, подвесив пучками.

Марфа записывала в тетрадку, стараясь не пропустить ни слова.

— А плакун-трава? — спросила она, вспомнив Агафьины сказки.

Марья усмехнулась.

— Это дербенник иволистный. Растёт у рек и озёр, высокий, с багровыми цветами. Говорят, вырос он из слёз самой Матери Сырой Земли, когда она оплакивала своих детей. Он всем травам мати.

Она подошла к берегу ручья, где покачивались лиловые метёлки.

— Собирают плакун-траву на утренней заре, в Иванов день. Копают без железных орудий — руками, иначе корень силу потеряет. Потом шепчут особый заговор:

«Плакун, плакун! Плакал ты долго и много, а выплакал мало. Не катись твои слезы по чисту полю, не разносись твой вой по синю морю. Будь ты страшен злым бесам, полубесам, старым ведьмам киевским. А не дадут тебе покорища, утопи их в слезах; а уберут от твоего позорища, замкни в ямы преисподние.

Будь мое слово при тебе крепко и твердо. Век веком!»

Марфа замерла, боясь шелохнуться.

— А зачем этот заговор?

— Чтобы плакун-трава обрела силу над нечистью. Её корень, носимый при себе, отгоняет злых духов и заставляет их плакать. Знахари его используют, чтобы изгнать домовых и ведьм.

Марья пошла дальше, и Марфа за ней, ступая след в след.

— Есть ещё разрыв-трава, — продолжала мать. — Её ещё называют прыгун, скакун. Очень редкое растение. Говорят, она разрывает железо, сталь, золото и серебро. Найти её могут только те, кто уже владеет цветком кочедыжника (папоротника) и корнем плакуна. Она сама указывает путь к кладам.

— А как она выглядит?

— Никто не знает, — усмехнулась Марья. — Кто видел — не рассказывает. А кто рассказывает — тот не видел.

Они вышли на сухое пригорок, где трава была ниже и редка.

— А вот здесь, — Марья указала на низкое растение с мелкими цветами, — растёт иван-да-марья. У него два оттенка — фиолетовый и жёлтый. Символ верности и единства. В народе говорят, что это брат и сестра, которые навсегда связаны.

Марфа покраснела, подумав о Матвее.

— Его собирают в Купальскую ночь, — добавила Марья. — Вплетают в венки, чтобы сохранить любовь и дружбу.

Она остановилась, огляделась вокруг.

Марья протянула руку к невысокому растению с мелкими белыми цветами, что пряталось в тени старой берёзы.

— А вот это, — сказала она, срывая несколько листьев, — медуница. Растёт она в лесах и оврагах, любит тень и влагу. Листья у неё пятнистые — белые пятна на зелёном, будто светлячки присели отдохнуть.

Она протянула листья Марфе.

— Попробуй. Когда ты в лесу заплутала, устала, обессиленна — ты можешь поесть растений. Но важно знать, какие из них насыщают, а какие — истощают. Медуница — одна из первых весенних трав. Она и голод утолит, и силы вернёт. На вкус сладковатая, дети её любят.

Марфа осторожно взяла лист, пожевала. И правда — сладковато, приятно, будто мёда капнули.

— Её не только едят, — продолжала Марья, — но и раны ею заживляют. Лист разжёшь, приложишь — и кровь останавливается, и грязь не пристаёт. Наши предки называли её «лёгочницей» — от кашля помогает, от хрипоты, от всякой хвори грудной.

Они пошли дальше, и Марья, присев на пенёк, достала из корзины небольшой узелок.

— А вот это, — сказала она, разворачивая льняную тряпицу, — моя гордость. Рецепт, который передаётся в нашем роду от матери к дочери.

— Что это? — Марфа взгляделась. В тряпице лежали засушенные листья, семена и какие-то корешки.

— Это заготовки для зелёной икры, — улыбнулась Марья. — Моя бабушка была поварихой в стольном граде Новгороде, при дворе самого государя. Это было давным-давно при князе Владимире. Бабушку звали Милава, и слава о её стряпне шла по всей земле.

Марфа замерла, боясь пропустить слово.

— Готовила она не мяса жареные и не рыбу пареную, а зелень. Из тех трав, что мы сейчас собираем. Государь был в восторге, и бабушка пользовалась уважением при дворе.

— А что это за блюдо? — спросила Марфа.

— Называла она его «икра зелёная», — ответила Марья. — И не зря: по виду как чёрная икра, только зелёная, а по вкусу — сама весна.

Она положила руку на сердце, словно вспоминая голос бабушки.

— Делали её так: брали молодую крапиву, щавель, шпинат (его тогда ещё «огородной зеленью» звали), добавляли черемшу — её на Руси «колбой» называли, и медуницу, что мы только что рвали. Всё это мелко-мелко рубили тяткой в деревянной миске, почти в кашницу. Добавляли туда толчёные кедровые орехи, немного соли и перца душистого, и заливали горячим маслом конопляным. А потом парили в русской печи, в глиняном горшке, часа два. Икра настаивалась, густела, и её подавали к блинам, к кашам, к рыбе.

— И государю нравилось?

— Государь, говорят, икру эту за уши не оттащить было, — усмехнулась Марья. — Когда Государь возвращался с охоты, что очень популярна в тех краях, вдоволь наевшись мяса, икра зелёная была главным блюдом на княжеском столе. И гости диву давались: откуда у простой поварихи такие секреты?

— А она их от своей матери узнала, а та — от своей, — продолжила Марфа, поняв ход мысли.

— Умница, — кивнула Марья. — И я тебе их передам. Не сразу, но передам.

Травничество — это не только про то, как раны лечить. Это про то, как землю благодарить, как силу из неё брать, как дом кормить.

Она встала, отряхнула сарафан.

— А теперь — идём дальше. Нам нужно набрать крапивы, пока она молодая и жгучая. В крапиве, говорят, сила семи богатырей. И сны она вещие отводит, и злых духов пугает, и волосы крепкими делает. И сытный из неё суп — щи зелёные — лучше мяса. Они какое то время ходили по лесу и собирали травы.

— Садись, — Марья присела на пенёк, обросший мягким мхом, и похлопала ладонью рядом с собой. — Расскажу тебе легенду, которую знают все травники. Не записывай. Такое не записывают. Это нужно запомнить сердцем.

Марфа опустила рядом, положив тетрадь на колени, но перо держала наготове. Мать заметила, усмехнулась, но не остановила.

— Давным-давно, когда мир был ещё молод, жила на земле женщина. Звали её Доля. Не красавица была, не богатырша — тихая, светлая, с руками, которые помнили тепло каждого растения. Она умела лечить травами, заговаривать болезни, успокаивать боль. И была она так добра, что сама земля полюбила её и открыла ей все свои тайны.

— Все-все? — прошептала Марфа.

— Все. Доля знала, о чём шепчет крапива, когда жжётся, и о чём плачет ромашка, когда её срывают. Она слышала корни, которые тянутся к воде, и видела, как сила поднимается из земли по стеблю к листьям и цветам.

К ней приходили люди. Со всех деревень, из дальних сёл, даже из городов приезжали. Кто с болью в спине, кто с хворью в груди, кто с тоской в сердце. Доля никому не отказывала. Она не брала платы, не требовала даров. Только просила: «Когда вернётесь домой, поклонитесь земле. Она вас вылечила, не я».

И звери приходили к ней. Хромые волки, больные лисы, зайцы с перебитыми лапами — все знали: у Доли не обидят. Она промывала раны, вправляла кости, поила настоями. И звери уходили здоровыми, а потом приводили к ней своих детёнышей.

Марья замолчала, сорвала травинку, покрутила в пальцах.

— И вот однажды проезжал в тех краях воевода. Возвращался с битвы, весь в ранах, иссечённый мечами, бледный, как зимний месяц. Княжеский конь споткнулся у самого порога Доли, и воевода упал на землю. Доля вышла, посмотрела — и сердце её дрогнуло.

— Как дрогнуло? — не поняла Марфа.

— А так, — вздохнула мать. — Любовь не спрашивает разрешения. Она приходит, когда захочет, и не уходит, когда её гонят.

Доля выходила воеводу. Три дня и три ночи не спала, меняла примочки, поила отварами, шептала заговоры. А на четвёртый день он открыл глаза. И посмотрел на неё так, что она поняла: прежней жизни больше не будет.

Воевода был сильным, молодым, знатным. Он полюбил Долю не за красоту — за свет, что шёл от неё. А она полюбила его за то, что он увидел в ней не просто травницу, а женщину.

— И он забрал её? — спросила Марфа.

— Забрал. В стольный град. В терема высокие, на перины пуховые. Обещал, что она не будет знать ни забот, ни нужды. И Доля согласилась. Уехала. Оставила лес, оставила травы, оставила землю, которая её выкормила.

Марья вздохнула, и в этом вздохе было что-то древнее, усталое.

— Она думала, что сможет быть счастливой и без земли. Что любовь заменит всё. Но связь, которая питала её всю жизнь, начала истончаться. Сначала она просто реже вспоминала рецепты. Потом стала путать травы. Потом перестала слышать их голоса. А потом...

Мать помолчала.

— Потом в городе случилась беда. Эпидемия, чёрная хворь. Люди падали замертво, и никто не знал, как их спасти. Доля попыталась вспомнить древние заговоры, но память её молчала. Она искала нужные травы, но не могла отличить целебное от ядовитого. Она разорвала связь с землёй, и земля закрыла от неё свои тайны.

Марфа замерла, не дыша.

— И она заболела?

— И она заболела, — тихо сказала Марья. — Так же, как и все. Ни муж, ни слуги, ни княжеские лекари не могли ей помочь. Потому что хворь та была не телесная — душевная. А душу лечат не зельями, а связью с тем, что дало тебе жизнь.

— И она умерла?

— Умерла. На руках у воеводы. Перед смертью попросила отвезти её в лес, к той самой полянке, где они встретились. Положила на траву и прошептала: «Прости меня, мать-земля. Я забыла тебя. Я разорвала нашу связь».

Но ты не забывай меня. Не забывай всех, кто уходит в каменные города и думает, что они сильнее тебя».

Марья замолчала. Над лесом стояла тишина, только птицы перекликались где-то в вышине.

— И что же земля? — спросила Марфа, вытирая слёзы, которые сама не заметила.

— А земля простила, — ответила мать. — Она всегда прощает. На том месте, где умерла Доля, выросла трава, которой нет больше нигде. Говорят, если найти её и заварить, можно услышать голоса предков. Но мало кто ищет. Потому что для этого нужно снова научиться слушать.

Она встала, отряхнула сарафан.

— Грустная легенда, — сказала Марфа. — Зачем ты её рассказала?

— Затем, доченька, — Марья посмотрела ей прямо в глаза, — что нас питает связь с матерью-землёй изначально. Мы — её дети. Мы дышим её воздухом, пьём её воду, едим её плоды. Но мы, люди, сознательно разрываем эту связь. Уходим в города, запираемся в каменных домах, перестаём ходить босиком, перестаём кланяться земле. И тогда земля замолкает. Не в наказание — от обиды. Зачем говорить с теми, кто не слышит?

Она протянула руку дочери.

— А мы с тобой помним? — спросила Марфа, поднимаясь.

— Помним, — кивнула Марья. — Пока мы помним, пока учим вас, мать-земля ждёт. Она не отвернулась от нас навсегда. Она просто ждёт, когда мы снова научимся слушать. А теперь — идём.

Они пошли дальше по лесной тропе. Марфа чувствовала, как в кармане теплеет мешочек с родной землёй, а в сердце — грусть и благодарность. За легенду. За мать. За то, что связь ещё не разорвана.

Легенда 4

Навья охота.

За окном бушевала гроза. Не обычная летняя, когда дождь быстро начинается и быстро кончается, а чёрная, древняя, будто само небо решило вспомнить, что оно может быть не только ласковым, но и страшным.

Молнии били одну за другой. Они не освещали небо — они рвали его, как старую ткань. Гром гремел так, что стёкла в избе дребезжали, и Марфа каждый раз вздрагивала, когда очередной удар сотрясал землю. Ветер завывал в трубе, бросал в стены пригоршни дождя, и казалось, что кто-то огромный и невидимый ходит вокруг дома, стучит в ставни, просится внутрь.

— Да чего ты боишься? — сказал Матвей, стараясь, чтобы голос звучал твёрже, чем он сам себя чувствовал. — Это просто гроза. Перун по небу ездит, молнии мечет. Он добрый, он не в нас.

— Это ты так думаешь, — ответила Агафья.

Она сидела у печи, не пряла, не перебирала травы — просто сидела, сложив руки на коленях, и смотрела на огонь. Лучина давно погасла — свет давали только угли в печи да редкие вспышки молний за окном. В эти мгновения изба выхватывалась из темноты, и тени на стенах начинали плясать, будто живые.

Матвей выпрямился.

— А чего их бояться? Я не маленький. Я не боюсь.

Агафья медленно повернула голову и посмотрела на него. В свете углей её глаза блеснули жёлтым — как у кошки, как у того, кто видит в темноте то, чего не видят другие.

— Посмотрим, — сказала она тихо. — Посмотрим, какой ты будешь храбрец после следующей сказки.

Марфа поёжилась. Не от холода — в избе было тепло, — а от того, как прозвучали эти слова. Будто Агафья знала что-то, чего они не знали. Будто сама гроза пришла не просто так, а вместе с этой сказкой.

— Бабушка, — тихо спросила Марфа, — а что за сказка?

Агафья не ответила сразу. Подбросила в печь щепку, и та вспыхнула, осветив её лицо — старое, морщинистое, с глазами, которые видели больше, чем может выдержать человек.

— Сказка о том, — сказала она, — как мёртвые выходят на охоту. О том, как князь-оборотень собирает своё войско и скачет по земле, забирая тех, кто не успел спрятаться.

Матвей слотнул. Гроза за окном будто притихла, но не ушла — затаилась, прислушиваясь.

— Садитесь, — велела Агафья. — И слушайте. И не перебивайте. Ибо легенда эта — не для слабых сердец.

Агафья начала свой рассказ тихо, почти шепотом, но в этом шепоте слышалась сила, от которой у Марфы по спине побежали мурашки:

— Было это на 6600 лето от сотворения мира, а может, и того раньше — точно никто не скажет. Полоцкие земли всегда славились своей богатой фауной и плодородными землями. Леса там дремучие, полные зверья — лосей, вепрей, куниц и бобров. Озёра синие, рыбой полные — здесь водились и сомы, и щуки, и окуни, и лещи, и сазаны с линиями. А какие там травы росли — душистые, медоносные, целебные. Люди жили привольно: охотились, рыбачили, бортничали — добывали мёд лесных пчёл, земли там были жирные, тучные, хлеб родился знатный.

Она на минуту замолчала, и в наступившей тишине Марфа услышала, как за окном воет ветер.

В ту пору княжил в Полоцке Всеслав Брючиславич. Правил он долго — без малого шестьдесят лет, — но не по любви народной, а по страху. Был он жесток, ибо, как шептались люди, сама природа отметила его печатью тьмы. Родился он от волхования тайного, и была у него на голове особая метка — «язвено», которое волхвы наказали матери не снимать, дабы носил он её до самой смерти.

С годами Всеслав не скрывал своей тёмной сути. Он обкладывал людей непомерными поборами, отнимал земли у вдов и сирот, а тех, кто смел перечить, казнил без суда. Пирь его были кровавы, а охота — безмерна. Он убивал зверя в лесу не ради пропитания, а ради забавы, истребляя целые стада, будто мстил самой природе за свою печать. И прозвали его люди Чародеем, а за глаза — проклятым князем-оборотнем. Говорили, что по ночам он оборачивается волком и рыскает по лесу невидимкой, а на шее его, под одеждой, скрыта та самая повязка с «язвеном», которая, по слухам, давала ему силу над нечистью и делала неуязвимым в бою.

Но страшнее всего было другое: князь потерял человеческий облик задолго до того, как его тело начало меняться. В его глазах давно погас свет совести, а сердце окаменело от гордыни. Тьма, что жила в его сердце, притянула к себе другую тьму. Ту, что спала под землёй веками.

В тот год в небе явилось знамение. Сначала — огромный огненный круг посреди неба, «превеликий», как писали потом летописцы. Люди падали на колени, крестились, кто как умел, и шептали: «*К худу это, к худу*». А потом, когда лето уже перевалило за половину, с запада пришла звезда с хвостом, каких никто не видывал. Не тихая, не ласковая вечерница — багровая, кровавая, она висела над горизонтом, и хвост её, длинный и рваный, будто след от удара, застилал полнеба. Стояла она долго, не гасла, и при её свете даже в полночь можно было читать.

Люди шептались, что это дурной знак, что сам князь-чародей наслал проклятье на землю свою, а иные и вовсе говорили: «*Конец света близко, прощайтесь*».

И в чём-то они были правы.

Земля перестала кормить своих детей. В тот год не уродилось ничего. Дожди не шли — не то чтобы мало, а вовсе не шли. Солнце палило немилосердно, иссушило пашни, превратило луга в выжженную пустошь, где даже черви в земле сдохли. Трещины пошли по полям такие глубокие, что в них можно было провалиться по пояс.

Крестьяне выходили на заре, надеялись, молились богам, вглядывались в небо — но небо было пустым, жестоким, будто само забыло, что такое дождь. Хлеб не взошёл. Рожь засохла на корню, так и не налив колос. Овёс выгорел, превратился в труху, которую ветер развеивал по белой, мёртвой земле.

А потом начали гореть леса и болота. Сами собой. От одного только зноя. В воздухе стоял смрад, дым застилал солнце, и люди дышали гарью неделями. Вода в колодцах стала горькой, пахла пеплом, и её пили, зажимая нос, потому что другой не было.

Скот — кормилец, надежда и опора — погибал первым. Коровы падали на выгоне, не доходя до водопоя, с раздутыми боками и почерневшими языками. Овцы лежали кучами у изгородей, и хозяева не успевали их хоронить. Кони шатались и валялись с ног прямо в оглоблях, так и не дотащив воза до гумна.

А следом начали гибнуть люди.

Сначала старые и слабые — те, кому не хватило сил искать пропитание. Потом молодые, которые отдавали последний кусок детям и сами оставались ни с чем. Потом и дети — те, чьи матери уже не могли кормить грудью, потому что сами опухали от голода.

В Лаврентьевской летописи потом запишут: «Продали мы гробов от Филиппова дня до мясопуста семь тысяч». Семь тысяч гробов за три месяца. В городе, где жило едва ли больше двадцати тысяч.

А те, кто выживал, завидовали мёртвым.

Голод заставлял людей делать то, что раньше и в страшном сне не приснилось. Ели кору с деревьев — липовую, березовую, дубовую, лишь бы заполнить желудок. Ели мох, который раньше только на растопку годился. Ели кожу — с обуви, с упряжи, со старых сумок. Варили её часами, пока она не становилась мягкой, и ели, давясь, потому что больше нечего было положить в рот.

Некоторые, говорят, доходили до последней черты. Но о том лучше молчать, потому что такие вещи даже в страшной сказке не рассказывают.

Марфа и Матвей сидели не дыша. За окном по-прежнему выло, завывало, никак не могло уняться ненастье.

— Сам князь, — продолжала Агафья, — заперся в своём дворце. Пил, ел, пировал. С народом не делился, на страдания людские не глядел. И так, видно, объедался, что в один день сгинул. Помер.

— А как? — шёпотом спросил Матвей.

— А по-разному говорили, — старуха покачала головой. — Много слухов ходило. Кто говорил, что кто-то из близких ратников, семью в том голодоморе потерявший, пробрался в княжеские покои да и прирезал его. А кто — что на пиру подавился костью. А кто — что сам Чародей не вынес того, что натворил, и душу свою чёрную самому тёмному богу отдал.

Она помолчала, глядя в огонь.

— Но после его смерти стало ещё страшнее. По ночам за домами люди начали слышать стоны и вой. Кто-то ходил, скрёбся в двери, царапал ставни. Кто из избы выходил в те ночи — тот замертво падал. Не от меча, не от стрелы — от язвы невидимой. Посмотрит человек на улицу — и падает, будто кто-то незримый поразил его в самое сердце. Лица у таких становились чёрными, глаза вылезали из орбит, и умирали они в страшных муках, корчась и кусая землю.

Марфа невольно прижалась к брату.

— Началось всё с города Друцка, — продолжала Агафья. — Там, в Друцке, людям по ночам не давал спать тяжёлый топот. «Тутон», — так потом записали летописцы. Тяжёлый, ровный, будто сотни ног били в такт по мёрзлой, потрескавшейся земле. Стук копыт, звон сбруи, скрип сёдел — а всадников не видно. И стоны. Человеческие стоны, только без голоса, без слов — одна тоска, один страх, одна смерть, сжатая в звук.

Она перекрестилась.

— Кто выходил посмотреть — тот падал замертво, поражённый невидимой язвой. И никто уже не смел выходить из домов. Люди сидели за закрытыми дверями, дрожали, молились — кто кому умел. А наутро находили на улицах тела — почерневшие, скрюченные, с застывшим ужасом на лицах.

И происходило так по всему Полоцкому княжеству. От Друцка до самого Витебска, от болот до глухих лесов, где редкий путник отваживался пройти. Где бы ни появилась эта невидимая конница, там через день-другой находили мёртвых. Люди умирали в своих домах, запершись на все засовы, — смерть просачивалась сквозь щели в ставнях, задувала свечи, шептала имена.

И была эта Навья Охота ненасытна и беспощадна. Не брала она ни золота, ни серебра, не внимала мольбам, не отступала перед молитвами. Выходила из лесу, когда солнце садилось за горизонт, а когда вставала заря — исчезала, будто её и не было. Но с каждым новым вечером возвращалась, и с каждым разом жертв становилось всё больше.

Князья соседние узнали про беду, да помочь ничем не могли. Собирали дружины, посылали в Полоцк, но те, кто уходил, назад не возвращались. Или возвращались, но уже не людьми — бледными, молчаливыми, с глазами, в которых больше не было жизни.

Поговаривали, что сам князь Всеслав — даже после смерти — стоял во главе этой охоты. Что его проклятая душа не нашла покоя и теперь мчит впереди невидимого войска, сея ужас на земле, которую когда-то погубил.

— И как же это кончилось? — спросил Матвей, стараясь, чтобы голос не дрожал.

Агафья помолчала. Лучина догорела, и в избе стало совсем темно, только угли в печи слабо тлели.

— А никак, — ответила она. — Кончилось, когда грани между мирами снова сомкнулись. Звезда ушла за горизонт, небо очистилось, и навье убрались обратно в свои тёмные земли. Но каждый год, в ночь перед Симоновым днём, в Полоцке до сих пор слышат топот. И те, кто выходит посмотреть, — пропадают.

— Навсегда? — выдохнула Марфа.

— Навсегда, — кивнула Агафья. — Потому что Охота никуда не делась. Они просто ждут.

— Кто — они? — едва слышно спросил Матвей.

— Навье, — ответила старуха. — Мертвецы, которых земля не приняла. Те, кто умер не своей смертью. Утопленники, самоубийцы, колдуны, проклятые. И возглавлял их князь Все-слав — проклятый князь-оборотень, навечно прикованный к седлу за гордыню свою. С той поры скачет он по земле, когда грань истончается, собирает свою охоту и уносит души живых.

Она подбросила в печь щепку, и та вспыхнула, осветив её лицо. Агафья обернулась. В свете углей её глаза блеснули жёлтым.

— ну что Матвей, всё ещё не боишься?! прошептала она.

Матвей выпрямился.

— Нет, — сказал он.

Агафья усмехнулась — невесело, одними уголками губ.

— Посмотрим, — сказала она. — Посмотрим, какой ты будешь храбрец, когда Охота придёт по-настоящему.

Она задула лучину, и изба погрузилась в темноту. Дети на ощупь добрались до двери и вышли на крыльцо. Ночь после грозы была свежей, пахло мокрой землёй и чем-то ещё — тревожным, древним, что не ушло вместе с грозой.

— Матвей, — прошептала Марфа, когда они пошли к дому.

— М?

— А ты правда не боишься?

Матвей долго молчал. Потом ответил:

— Боюсь. Но если бояться, то легче не станет. А если не бояться — может, и пройдёт.

Они пошли дальше, и звёзды, высыпавшие после грозы, светили им в спины.

Легенда 5

Новолетие.

В тот год осень пришла рано. Золотые пряди легли на берёзы, красным полымем вспыхнули клёны, и по утрам над Сновкой стелился туман — густой, молочный, какой бывает только перед большими праздниками.

Марфа проснулась от того, что за окном кто-то громко стучал в чугунную доску. Потом ещё кто-то. Потом ещё. Скоро вся Ольховка звенела, гремела, хлопала воротами и кричала петухами. Кто-то бежал по улице, колотя в самодельное било, и кричал: «Вставайте! Новолетие! Старый год провожаем!»

— Что это? — Марфа села на лавке, протирая глаза.

Матвей уже стоял у окна, прилипнув носом к стеклу.

— Праздник какой-то, — сказал он. — Вон все из изб повылазили.

Из кухни вышла мать — Марья — с полотенцем через плечо. В руках у неё была миска с распаренным овсом, от которого пахло мёдом и корицей.

— Садитесь завтракать, — сказала она. — День сегодня особенный. Новолетие.

— А что это? — спросил Матвей, усаживаясь за стол.

— Это граница, — ответил отец, отрываясь от карты, которую разглядывал у окна. — Сентябрьское Новолетие. Старый год кончается, новый начинается. В старину говорили: как встретишь Новолетие, так и год проживёшь.

— И как его встречать? — спросила Марфа.

— А надо, чтобы в доме было чисто, на столе — обильно, а в душе — мирно, — сказала мать, ставя на стол горшок с кашей. — Все долги отдать, все ссоры помирить, все старые обиды простить. Иначе новое не войдёт.

Позавтракав Степан отложил ложку, откинулся на лавку, посмотрел в окно, где за стеклом золотилась осень.

— Вот вы говорите: Новолетие, Новолетие, — начал он. — А знаете ли вы, откуда оно взялось? Почему их два — одно весной, другое осенью?

— Два? — удивился Матвей, перестав жевать. — А как это?

— А вот так, — усмехнулась мать.

— Потому что у природы — два начала.

— Первое — весеннее, — сказал отец, поднимая палец. — Первого марта. Когда земля просыпается после зимы, когда с крыш падает капель, когда грачи прилетают. В этот день славили Ярилу — бога весеннего солнца. Считалось: как встретишь весну, так и год проживёшь.

— А как встречали? — спросил Матвей.

— А по-разному, — ответила мать. — Пекли блины — круглые, жёлтые, как само солнце. Водили хороводы. Девушки венки плели. С гор катались — кто дальше, у того лён выше вырастет. И верили, что если первый мартовский день выдался тёплым, то и всё лето будет добрым.

— А осеннее Новолетие? — спросила Марфа.

— А осеннее — первого сентября, — отец посмотрел на неё серьёзно. — Это праздник урожая. Подведение итогов. Собрал хлеб — кланяйся земле. Выкопал репу — благодари поле. Отгулял свадьбы — радуйся, что род продолжается.

— И что, в этот день тоже пировали? — спросил Матвей.

— Не только пировали, — мать покачала головой. — В этот день старый огонь гасили и новый зажигали. Считалось, что с новым огнём в дом приходит новая жизнь. Долги отдавали, ссоры мирили, обиды прощали. Входили в новый год с чистой душой и чистыми руками.

— А ещё, — добавил отец, понизив голос, — в сентябрьское Новолетие девушки «мух хоронили». Делали из репы или моркови маленькие гробики, клали туда пойманных мух и с причитаниями закапывали. Считалось, что вместе с мухами уходит и всё надоевшее, старое, отжившее.

— А зачем? — поморщился Матвей.

— А чтобы новый год начать с чистого листа, — ответила мать. — Чтобы никакая муха тебя не отвлекала, не жужжала над ухом, не мешала жить.

Марфа задумалась. Посмотрела на брата.

— А что, у нас в Ольховке тоже так делают?

— Делают, — кивнула мать. — И сегодня увидите. Дед Фёдор уже объявил: в полдень сбор у старой липы, ввечеру — погашение огня, а завтра на заре — зажжение нового.

— И хороводы будут? — спросила Марфа.

— Будут, — улыбнулась мать. — И песни. И Прасковья обещала спеть.

— А мы можем? — спросил Матвей. — Ну, участвовать?

— А вы кто? — притворно строго спросил отец. — Вы тоже жители Ольховки. Значит, и участвовать будете.

— Ну что, — доедайте. Скоро полдень, пора на площадь собираться. Урожай подсчитывать да итоги подводить.

Он встал, потянулся.

— А завтра — увидите. И огонь, и хороводы, и песни. Всё, как в старину.

Марфа доела кашу, вытерла губы рукавом и вышла на крыльцо.

Осеннее солнце светило ярко, но без тепла — по-особенному, прозрачно и чисто.

— Новый год, — прошептала она. — Ещё один.

И улыбнулась.

Потому что новый год — это всегда надежда. Даже если он уже не первый в её жизни.

Марфа дождалась мать, следом вышли Матвей с отцом, и они двинулись в сторону главной площади, где по пятницам проводили базарный день, а сегодня уже начинал собираться народ для подведения итогов лета.

Воздух был прозрачным и холодным, каким он бывает только под самый конец осени, когда лето уже отпустило, а зима ещё не схватила. Пахло прелым листом, дымком из печей и тем особенным, сладковатым духом, который приносят с собой последние погожие дни. Где-то за огородами перекликались петухи, и на душе было тепло и спокойно.

Когда они подошли к площади, народ уже собрался. У старой липы, под которой всегда проводили важные сходы, стоял дед Фёдор. Без шапки, седые космы трепал ветер, но старик не обращал на это внимания. Он опирался на черёмуховый посох, и голос его, хоть и старческий, разносился далеко.

— А вот и наши, — кивнул он в сторону Веденских, когда они пристроились в задних рядах. — Ну что ж, начнём.

Он обвёл глазами собравшихся.

— Лето нынче вышло тёплым, дождливым, да без лишней воды. Лес отблагодарил нас, как умел. С весны погнали березовицу — сока собрали не меряно. Грибов в этом году — не обобраться.

— А какие? — крикнул кто-то из толпы.

— А всякие, — дед Фёдор даже усмехнулся. — В июле подберёзовики лезли — почитай, с каждого куста по ведру. В августе белые пошли — такие здоровенные, что шляпка с добрую

тарелку. Опята в сентябре стеной стояли. А уж груздей! Солёных груздей нынче заготовили — до самой весны хватит.

В толпе заулыбались. Хороший грибной год — это и сытный стол, и уверенность в завтрашнем дне.

— А ягода? — спросила Прасковья, протискиваясь поближе.

— И ягода уродилась, — дед Фёдор кивнул. — Земляники в июне — хоть косой коси. Черники — полные корзины носили. Брусника и клюква — сами знаете, в этом году их не обограться. А малина! По оврагам малины столько, что медведи не успевали съесть, нам оставалось.

— А шиповник? — спросил Матвей, выглядывая из-за отцовского плеча.

— И шиповник, и калину, и рябину — всё уродилось, — дед Фёдор посмотрел на него с теплотой. — Лес поделился. Запасы на зиму сделали добрые. И варенья наварили, и сушили, и морозили. Спасибо лесу.

— А зверьё как? — спросил молодой мужик с краю.

— И зверьё в порядке, — ответил дед Фёдор. — Лоси по осени жирные ходили, кабанов в этом году много. Зайцы и белки — сами знаете, не переводятся. А это значит — и мясо будет, и шкуры, и чем зиму кормиться. Лес не оставит, леший милостевый одорил.

Он помолчал, опираясь на посох.

— Так что, други мои, год был добрым. Урожай собрали, грибы засушили, ягод набрали, скотину откормили. Значит, и Новолетие встретим с чистой совестью и полными закромами.

— Спасибо земле-кормилице! — крикнул кто-то.

— Спасибо лесу-батюшке! — подхватил другой.

Дед Фёдор поднял руку, призывая к тишине.

— А вечером, — сказал он, — как стемнеет, соберёмся снова. Старый огонь погасим, новый — зажжём. Пусть всё плохое уйдёт, а хорошее останется.

Марфа стояла, сжимая мамину руку, и чувствовала, как в груди разрастается странное, тёплое чувство. Не от солнца — от того, что она часть этого праздника, этой общности, этого круга жизни, который повторяется из года в год.

— Мам, — сказала она тихо. — А Новолетие всегда такое? Спокойное и доброе?

— Всегда, — ответила мать. — Потому что это праздник надежды. Даже если год был трудным — всё равно надеешься, что следующий будет лучше.

— А если не будет?

— Будет, — твёрдо сказала мать. — Потому что без надежды человек — как дерево без корня. Стоит, но не живёт.

Марфа замолчала, впитывая эти слова.

А дед Фёдор уже слезал с крыльца, опираясь на посох, и кто-то из мужиков подхватил его под локоть.

Следом вышел Олег — глава мельницы, мужчина грузный, с окладистой бородой и руками, вечно пропахшими мукой и дрожжами. Он откашлялся, поклонился на все четыре стороны и начал неспешно, степенно:

— Урожай нынче, люди добрые, собрали. Не всё, конечно, как хотелось, но Макош молить — есть чем зиму зимовать. Пшено выросло, хоть и не так, как ожидалось. Колос был не шибко тяжёл, да и мышь полевых много развелось — поели, проклятые. Но закрома не пустуют. Ссыпали в амбары — до самой весны хватит. А там, дадут боги, и новый посеём.

Мужики закивали, Олег вытер лоб платком и отошёл в сторону, уступая место другим.

Подожли рыбаки. Их возглавлял Еремей — старый, сутулый, но цепкий, с кожей, выдубленной ветрами и водой. Он мял в руках картуз и, видимо, не решался говорить первым.

— Ну, чего там, Еремей? — спросил дед Фёдор. — Рыба шла? Не подвела?

Еремей вздохнул, помялся, но выдохнул:

— Рыба... она, братцы, была. Но меньше, чем в прошлом году. Сомов взяли мало, лещей — и того меньше. Щука не шла, капризничала. А вот окунь порадовал — мелочи много, но и крупный попадался. И плотва была — вёдрами таскали.

— А на зиму хватит? — спросила какая-то баба из толпы.

— Хватит, — Еремей поднял голову. — Не в обиду сказано, но рыба у нас в реке не переводилась. Просто в этом году она будто осторожничала. Может, лето было жаркое, может, ещё что. Но к зиме запас сделали. И вяленой, и солёной, и мороженой. С голоду не помрём.

— И то ладно, — вздохнул дед Фёдор. — Спасибо и за то.

Народ зашумел, заговорил, начал расходиться по домам. Кто-то уходил кормить скотину, кто-то — готовить угощение к вечеру, кто-то просто отдохнуть перед главным обрядом.

— Мам, — спросила Марфа, когда они двинулись к дому, — а почему рыбы было меньше? Она обиделась?

Мать усмехнулась.

— Рыба не обижается, дочка. У неё свои законы. Иной год идёт, иной — нет. Главное — не жадничать. Если мало поймал — не горюй, если много — поделись.

Они подошли к крыльцу. Мать оглянулась на площадь, где мужики уже разбирали старые доски, носили хворост, готовили кострище для вечернего обряда.

— А вечером, — сказала она тихо, — мы все снова соберёмся. Старый огонь погаснет. И вместе с ним уйдёт всё, что мешало жить. А завтра на заре зажётся новый. И мы начнём год с чистого листа.

Марфа кивнула, чувствуя, как внутри поднимается странное, щемящее волнение. Словно перед большим путешествием.

Вечер опускался на Ольховку медленно, как густой мёд, который льют с ложки — не спеша, с достоинством. Солнце закатилось за лес, оставив после себя багровую полосу на горизонте. Небо над деревней стало тёмно-синим, почти чёрным, и первые звёзды зажглись на нём одна за другой — сначала робко, потом всё смелее. Ветер стих, и воздух наполнился той особенной, предпраздничной тишиной, когда даже собаки не лают, а куры сами забираются в курятник без окрика.

В избах зажгли лучины, но ненадолго — только чтобы собраться и выйти. Люди одевались в лучшее: женщины надели сарафаны с вышивкой, повязали яркие платки с кистями; мужчины — чистые рубахи, подпоясанные цветными поясами. Девушки вплели в косы алые ленты, дети причесались и умылись, даже старики принарядились, словно на свадьбу.

Вся Ольховка, от мала до велика, потянулась к площади.

Марфа шла между отцом и матерью, держась за их руки. Матвей шагал впереди, важно и прямо, как будто он сам был главным на этом празднике.

На площади уже горели смоляные факелы, вставленные в железные корзины на высоких шестах. Свет их был жёлтым, тревожным, но красивым. В центре, на каменном возвышении, лежала груда хвороста, а рядом — большая глиняная плошка, пустая и холодная.

В тишине, нарушаемой только потрескиванием факелов, к центру вышла Агафья.

Она была в тёмном сарафане, повязанная белым платком, из-под которого выбивались седые пряди. В руках она несла лучину — ту самую, что горела в её избе всё минувшее лето. Огонь на ней был едва живой, но не гас. Он мерцал, как больной светлячок, но держался.

Люди расступились, пропуская её. Агафья подошла к каменному возвышению, подняла лучину над головой и заговорила. Голос её был тихим, но в тишине площади его было слышно каждому.

— Огонь-батюшка, — начала она, и слова её лились, как старая, забытая песня, — ты согревал нас всё лето. Ты варил нам еду, ты светил в темноте, ты отгонял зверей и нечисть. Спасибо тебе.

Она поклонилась лучине.

— Но время твоё вышло. Старый год уходит, и ты уходишь с ним. Унеси с собой всё, что было плохого: ссоры, болезни, неурожай, лихую беду. Оставь нам только доброе.

Она перевернула лучину и воткнула её в глиняную плошку. Огонь вспыхнул в последний раз, ярко, будто прощаясь, — и погас.

Тишина стала ещё глубже.

Никто не говорил, никто не шевелился. Даже дети затихли, прижавшись к матерям.

Агафья постояла немного, глядя на погасший огонь. Потом поклонилась и отошла в сторону.

— Всё, — сказала она просто. — Старый год кончился.

Люди начали расходиться. Медленно, не торопясь, словно после похорон. Не было шума, не было песен. Только тихие разговоры, только шарканье ног по утоптанной земле.

Марфа шла домой, держась за мамину руку. Вокруг было темно — лучины в избах не зажигали до утра. Только звёзды светили с неба, да где-то далеко в лесу ухала сова.

— Мам, — прошептала Марфа. — А новый огонь когда зажгут?

— Завтра на заре, — ответила мать. — Как солнце встанет. Придём, попросим — и он загорится.

— А вдруг не загорится?

— Загорится, — твёрдо сказала мать. — Должен. Потому что без огня жизни нет.

Они вошли в избу. В доме было темно и тихо. Отец наощупь закрыл дверь на засов. Матвей сразу забрался на лавку и укрылся с головой.

— Спокойной ночи, — сказал он в темноту.

— Спокойной ночи, — ответила Марфа.

Она легла, но долго не могла уснуть. Ворочалась, смотрела в потолок, слушала, как дышит брат, как скрипят половицы — кто-то ещё не спал в соседних избах.

А за окном, над спящей Ольховкой, разгорались звёзды — одна ярче другой, будто кто-то невидимый зажигал их специально, чтобы людям было не так страшно ждать утра.

И Марфа, сама не заметив как, провалилась в сон. И приснился ей новый огонь — яркий, тёплый, такой, что от него становилось светло даже с закрытыми глазами.

А за окном тем временем занималась заря. Не просто утро — а праздник, звонкий, яркий, каким бывает только первый день нового года, когда старый огонь уже погас, а новый ещё только предстоит зажечь.

Матвей вскочил раньше всех. Глаза ещё слипались, но ноги уже несли его по избе.

— Мама! Папа! Вставайте! — закричал он, дёргая отца за рукав. — Марфа! Просыпайся! Новый год! Огонь сейчас зажгут!

Марфа открыла глаза. В избе было ещё темно, но за окном уже серело, и где-то далеко, за лесом, небо окрашивалось в розовый цвет.

— Вставай, соня! — Матвей уже натягивал порты. — Опоздаем!

Мать заворочалась на печи, отец сел на лавку, протирая лицо.

— Ну, крикун, — усмехнулся он. — Прямо как петух.

— А то! — Матвей уже был у двери. — Я первый встал, значит, мне и огонь первому нести!

— Не торопись, — сказала мать, слезая с печи. — Сначала умыться, потом причесаться, потом — идти. Негоже нечёсанными новый огонь встречать.

Они собрались быстро, но без суеты. Марфа надела новый сарафан — тот самый, синий, с васильками, который берегла для праздника. Мать повязала ей ленту в косу, Матвей пригладил вихры мокрой ладонью.

— Всё? — спросил он нетерпеливо.

— Всё, — ответил отец, открывая дверь.

И они выбежали на улицу.

Воздух был холодным, свежим, пахло снегом — первым, ещё не выпавшим, но уже чувствовавшимся. Небо на востоке разгоралось алым, будто кто-то большой и добрый раздувал там огромный костёр. Звёзды уже погасли, и только одна, самая яркая, ещё теплилась над лесом.

На площади уже толпился народ. Все были при параде: девушки в расшитых сарафанах, парни в вышитых рубахах, дети — чистые, причёсанные, с горящими глазами.

— Не опоздали, — выдохнула Марфа.

— Ещё нет, — кивнул Матвей.

В центре площади, на каменном возвышении, лежала груда хвороста. Рядом стоял дед Фёдор, опираясь на посох. А перед ним — староста с кресалом в руках.

— Ну что, Ольховчане ? — спросил староста, оглядывая толпу. — Готовы новый год встречать?

— Готовы! — грянуло в ответ.

— Тогда — с новым летом!

Староста опустил на колено, положил кресало на трут. Раз — искра. Два — дымок. Три — слабый огонёк затлел на сухой траве.

— Зажётся! — крикнул кто-то.

— Зажётся! — подхватили другие.

Староста поднёс трут к хворосту, и пламя взметнулось вверх — чистое, яркое, обещающее. Оно было не жарким, но светило так, что казалось — наступил не рассвет, а сам полдень.

Люди зашумели, заулыбались. Кто-то пустился в пояс, кто-то смеялся, кто-то вытирал слёзы — не горькие, а светлые, радостные.

— С новым огнём! — крикнул дед Фёдор.

— С новым годом! — ответила толпа.

От костра зажгли первый факел, от него — второй, третий. И понеслось по деревне: в каждый дом, в каждую печь, в каждое сердце.

Матвей дождался, когда его очередь, и сам поднёс лучину к огню. Пламя лизнуло сухое дерево, и Матвей, гордый, важный, понёс его домой.

— Смотрите, не урони! — крикнула мать.

— Не уронию! — ответил он, не оборачиваясь.

Марфа шла следом, чувствуя, как тепло разливается по спине — не от огня, от того, что она часть этого дня, этого праздника, этой жизни.

А в небе уже вовсю разгорался новый день, и птицы пели так звонко, будто тоже праздновали Новолетие.

И Марфа знала: этот год будет добрым. Потому что начался он с огня, с надежды и с того, что они — все вместе — зажгли его своими руками.

Ближе к обеду Ольховка походила на сплошное застолье. У каждого дома — от крайнего до самого дальнего — выставляли столы с угощениями. Прямо на улице, под открытым небом, накрывали скатертями, ставили миски с кашами, горшки с тушёной репой, блюда с рыбой — вяленой, солёной, пареной. Пирог с грибами и ягодами румянились на солнце, каравай хлеба возвышался над всем этим великолепием, как маленькие золотые холмы.

Пахло свежей выпечкой, мёдом, пряными травами — укропом, петрушкой, луком. В воздухе витал дух праздника, и даже воздух, казалось, был гуще и слаще, чем обычно. Ребятишки сновали между столами, стаскивая куски пирогов из-под носов у взрослых, но те только посмеивались — не жалко, раз праздник!

Дом Веденских не был исключением. Марья с самого утра хлопотала у печи, и теперь стол ломился от яств. Ржаные пироги с капустой и яйцом, пшеничные — с творогом и изюмом, большая миска с мочёной брусникой, пареная репа в меду, жареные караси, посыпанные зеленью. В центре стола возвышался каравай — пышный, румяный. Мать подвела к нему Марфу:

— Смотри, дочка. Этот хлеб мы пекли с тобой вместе. Ты месила тесто, ты клала его в печь. Значит, и удача, что в нём живёт, будет и твоей.

Марфа покраснела от гордости.

Ольховка наполнилась мелодиями музыкантов. Гармонист Фома, известный на всю округу, растягивал меха, и из-под его пальцев лилась то задорная, то печальная музыка. Два парня с дудками вторили ему, девушки с бубнами отбивали ритм. Песни лились одна за другой — старинные, длинные, и короткие, плясовые, от которых ноги сами шли в пляс.

Хоровод шёл по всей деревне — от дома к дому, от околицы до околицы. Люди брались за руки, и длинная, извивающаяся лента двигалась по улицам, останавливаясь у каждого стола, пробуя угощения, благодаря хозяев, закручиваясь в спирали и снова распрямляясь.

И вот хоровод приблизился к дому Веденских.

Марья взяла дочь за руку.

— Идём, — сказала она. — Наша очередь.

Марфа была в новом сарафане — тёмно-синем, с вышитыми по подолу васильками и колосками. Вышивка была неброской, но тонкой, каждый стежок ложился к месту. На груди — бусы из янтаря, подарок матери. Волосы заплетены в тугую косу, перевитую алой лентой, и лента эта горела на солнце, как маленький костёр.

Сама Марья была в зелёном сарафане, с золотистой вышивкой по вороту и рукавам. На голове — повойник, расшитый бисером, из-под которого выбивались русые пряди. В руках она держала расшитый рушник — им вытирали руки после угощения, но и сам рушник был частью наряда, символом чистоты и благополучия.

— Какие красивые, — прошептал Матвей, глядя на мать и сестру.

— Молчи уж, — усмехнулся отец. — Сам-то вон какой расфуфырился.

Матвей был в новой белой рубашке с красной вышивкой по вороту и на рукавах. Штаны заправлены в сапоги, подаренные Кузьмой — старые, но крепкие, удобные. Отец — в тёмном зипуне, подпоясанный широким ремнём, при параде.

Марья и Марфа встали в хоровод. Чьи-то тёплые ладони сомкнулись с их руками, и они пошли, закружились в общем потоке. Песня лилась — про то, как по полю туман стелется, как девица к милому в окно стучится, как журавли улетают в тёплые края.

— Ой, туманы вы мои, туманы,

Ой, вы, росы мои поутру...

Марфа чувствовала, как земля упруго пружинит под ногами, как солнце гладит по лицу, как ветер играет с лентой в косе. Она не знала этих песен, но слова сами ложились на язык, будто она помнила их всегда.

Хоровод извивался между домами, и каждый раз, когда они проходили мимо стола, кто-то из хозяев подносил угощение, и все тянули руки, чтобы попробовать. И не было ни зависти, ни жадности — только общая радость, общее веселье, общее дыхание.

А музыка играла, и солнце светило, и Ольховка в этот день была похожа на огромный, цветущий сад, где каждый — и стар, и млад — был лепестком одного большого, живого цветка.

— Мам, — крикнула Марфа, когда хоровод на миг остановился, — я никогда не была такой счастливой!

— А ты запомни этот день, — ответила мать, — потому что такие дни не повторяются. Они живут в памяти и согревают, когда становится холодно.

Марфа кивнула, и они снова закружились в хороводе, и мир вокруг стал одним большим, ярким, праздничным пятном.

А потом, когда хоровод прошёл всю деревню и выплеснулся к реке Сновке, люди стали садиться на траву — кто на расстеленные рушники, кто прямо на мягкую осеннюю землю, кто на поваленные брёвна, что лежали у самой воды. Солнце уже клонилось к закату, но всё ещё

пригревало, и воздух был напоён запахом реки, мокрой травы и дыма от костров, что догорали в очагах.

В центре круга осталась только Прасковья.

Она стояла на пригорке, босая, в белом платке, и руки её были опущены вдоль тела. Ни гармошки, ни дудок, ни бубнов. Тишина. Даже река затихла, будто слушала.

— Люди добрые, — сказала она негромко, но голос её разносился над поляной, как колокольный звон, — лето уходит. Урожай собран, закрома полны, хлеб испечён. Давайте поблагодарим его. За тепло, за дожди, за хлеб и за рыбу, за ягоды и за грибы. За то, что было.

Она закрыла глаза, и полилась песня.

Не громкая, не плясовая — тихая, как вздох, как шёпот листвы перед дождём.

— Ой, ты, лето ясное, лето тёплое,

Ты зачем уходишь, не прощаючись?

Ты оставь нам солнышко в закромах,

Ты оставь нам радость на погостах.

Мы тебя трудом, мы тебя добром,

Мы тебя любовью отблагодарим.

Ты вернись к нам, лето, через год ещё,

Через год ещё, через восемь месяцев.

А мы встретим, а мы проводим,

Караваем, солью, пирогами.

А мы помнить будем — лето красное,

Как ты землю грело, как ты зёрна растило...

Марфа слушала заворожённо. Песня пробирала её до дрожи, до мурашек на руках. Голос Прасковьи обволакивал, пленил, заставлял забыть, где она, и кто она, и что вокруг люди. Будто сама земля запела, и река, и лес, и небо над головой.

— Мама, — прошептала Марфа, не отрывая глаз от Прасковьи, — как красиво она поёт. Я хочу научиться так же.

Марья обняла дочь за плечи, прижала к себе.

— Хочешь?

— Очень, — выдохнула Марфа. — Я никогда не слышала ничего подобного. Будто она не поёт, а душу вынимает и на ладони держит.

— А так и есть, — тихо сказала мать. — Настоящая песня — это не голос, не слова. Это душа. Прасковья свою душу вкладывает, оттого и слушать страшно и сладко.

— А я смогу так?

Марья помолчала. Посмотрела на дочь долгим, тёплым взглядом.

— Я отведу тебя к ней, — сказала она. — Попрошу, чтоб взяла в ученицы. Если Боги дадут и Прасковья согласится, научишься.

— Правда? — Марфа подняла на мать сияющие глаза.

— Правда, — кивнула Марья. — Только знай: её песни — не для забав. Они силу имеют. Могут и вылечить, и защитить, и... ну, не будем о плохом. Если сердце чистое, и песня будет чистая.

Прасковья закончила петь. Тишина ещё долго стояла над поляной, никто не шевелился, никто не говорил. Потом кто-то вздохнул, кто-то вытер глаза.

Марфа подошла к Прасковье сама, когда та собиралась идти домой.

— Тётя Прасковья, — сказала она, краснея, — а можно я к вам приду? Научиться петь?

Прасковья посмотрела на неё. Долго. Внимательно. Словно заглядывала внутрь, в самую глубину.

— Приходи, — сказала она наконец. — После Покрова. Буду учить.

И ушла, белая, лёгкая, как облачко.

Марфа стояла, глядя ей вслед, и чувствовала, как внутри разливается тепло. Не от солнца — от предчувствия. Что-то большое начиналось. Что-то, что изменит её жизнь.

— Ну что, дочка, — сказала мать, подходя. — Дождалась?

— Дождалась, — выдохнула Марфа.

— Тогда пойдём домой. Ужинать. Завтра новый день, а сегодня — праздник.

Они пошли рука об руку, и Марфа всё оглядывалась на поляну, где только что пела Прасковья. И ей казалось, что песня всё ещё звучит — не в воздухе, а у неё в груди.

А пока Марфу с Марьей кружил хоровод Матвей с отцом тем временем подходили к главной площади, где уже собирался народ. Здесь было не так шумно, как у реки, — тише, степеннее, потому что обряд был не весёлый, а важный, почти торжественный. В центре, на широкой скамье, сидели трое мальчишек — трёх и четырёх лет, в новых льняных рубашках, с приглаженными волосами и серьёзными, не по годам, лицами. Рядом стояли их отцы, держа в руках острые ножи.

— А что это они? — спросил Матвей у отца, когда они пристроились в первом ряду.

— Обряд пострига, — ответил Семён. — Первый раз на коня сажают. Посвящают в мужчины. Считается, что до трёх лет дитя — материнское, а после трёх — уже и отцовское. И с этого дня мальчик начинает учиться мужскому делу.

— А меня так посвящали? — спросил Матвей.

— И тебя, — кивнул отец. — Ты только упирался, не хотел слезать. Так и проехал полдервни — гордый, важный, будто князь.

Матвей усмехнулся, а сам смотрел во все глаза. Дед Фёдор, который в этом году исполнял роль старшины, вышел вперёд, поднял руку.

— Люди добрые, — сказал он. — Сегодня перед нами три отрока. Они выходят из младенчества и вступают на путь мужской. Пусть Род хранит их, пусть земля носит, пусть огонь согревает, а вода поит.

Он кивнул, и первый отец — молодой мужик, ещё не старый, но уже с проседью в бороде — подошёл к сыну. Мальчик сидел смирно, только глаза его, большие и испуганные, бегали по сторонам.

— Не бойся, — сказал отец, положив руку ему на голову. — Ты — моя кровь, моя плоть, моя надежда. Отсекаю я волос твой, как отсекаю младенчество твоё. Будь мужчиной, будь защитой, будь опорой.

Он отрезал прядь волос, и в толпе зашумели, заплодировали. Мальчика подхватили, посадили на лошадь — старую, смирную кобылу, которая стояла тут же, привязанная к столбу. Ребёнок испугался, захныкал, но отец поддержал его, и мальчик, всхлипывая, но удержался.

— Молодец! — крикнул кто-то из толпы. — Настоящий муичина!

— Мужичина! — подхватили другие.

Матвей смотрел, и ему вдруг стало не по себе. Он вспомнил, как сам сидел на этой лошади, как отец держал его, как он боялся упасть, но не упал. И как потом, уже дома, мать смазывала ему ссадины и приговаривала: «Ничего, сынок, всё в жизни будет. И падения, и подъёмы. Главное — встать».

— А чего их на коня сажают? — спросил он у отца.

— Чтобы землю чувствовали, — ответил Семён. — Чтобы ветер в лицо помнили. Чтобы страх побеждали. Настоящий мужчина — это не тот, кто не боится, а тот, кто боится, но делает. Матвей задумался.

— А я боюсь?

— Ты? — отец усмехнулся. — Ты боишься многого. Но ты делаешь. Это и есть мужество.

— Ты боишься, — раздалось вдруг откуда-то со стороны.

Матвей обернулся. У края площади, привалившись к плетню, стоял мальчик его возраста. Кудрявый, с веснушками, рассыпанными по щекам и носу, в рубашке, которая была

чистой, но уже успевшей замараться — видимо, он где-то лазил перед праздником. Руки в карманах, вид независимый, даже чуть нахальный. Но глаза — живые, с хитринкой, с интересом.

— Чего? — спросил Матвей, насторожившись.

— Говорю, боишься, — повторил мальчик, не двигаясь с места. — Я видел. Ты когда на лошадь садился — весь побелел. Думал, упадёшь.

— Не упал же, — буркнул Матвей.

— Не упал, — согласился тот, и вдруг улыбнулся — широко, открыто, так, что у Матвея пропало желание огрызаться. — А я Артём. Сын Кузьмы.

Матвей удивился. Сын Кузьмы? Тот самый, про которого говорили, что он ходит в кузницу с трёх лет, что уже умеет править подковы, что отец души в нём не чаёт? Этот веснушчатый, чумазый мальчишка?

— А я Матвей, — сказал он, протягивая руку. — Веденский.

— Знаю, — Артём пожал его ладонь — крепко, по-мужски, не по-детски. — Ты ж к нам в ученики ходить будешь. Отец сказал.

— Сказал? — Матвей почувствовал, как сердце ухнуло куда-то вниз, а потом забилося часто-часто. — Правда?

— Правда, — кивнул Артём. — Я подслушал. Он вчера вечером с дедом Фёдором говорил. Сказал: «Парень толковый, руки правильные. Возьму».

Матвей не знал, что сказать. Он смотрел на Артёма, на его веснушки, на его чумазую рубаху, на его улыбку — и чувствовал, как внутри разливается что-то тёплое, щемящее, похожее на счастье.

— А ты не врешь? — спросил он, чтобы не показаться слишком обрадованным.

— А чего мне врать? — пожал плечами Артём. — Язык без костей, враньё без корней. Скажу — сделаю. А ты не бойся, отец у меня строгий, но справедливый. Если работать будешь — научит.

— А если не буду?

— А если не будешь — выгонит, — спокойно ответил Артём. — И правильно сделает. Кузница — не игрушка. Там бездельников не держат.

Матвей кивнул. Посмотрел на отца, который стоял чуть поодаль, делал вид, что разговаривает с соседом, но поглядывал на сына.

— Я буду работать, — твёрдо сказал Матвей.

— Ну и ладно, — Артём хлопнул его по плечу. — Это мы посмотрим!

Второй мальчик, постарше, сидел уже спокойнее. Он даже не заплакал, когда отец отрезал ему прядь, и на лошадь сел сам, без помощи. Толпа загудела одобрительно.

— Этот будет воином, — сказал кто-то.

— А тот землепашцем, — ответил другой.

Третий мальчик был самым маленьким. Он не понял, что происходит, и заплакал сразу, как только отец взял его на руки. Но дед Фёдор погладил его по голове, прошептал что-то, и ребёнок успокоился. И когда его посадили на лошадь, он даже улыбнулся, ухватившись за гриву.

— Добрый знак, — сказал дед Фёдор. — Счастливый будет.

— А что, — спросил Матвей, когда обряд кончился и народ начал расходиться, — это всё? Просто отрезали волос и посадили на лошадь?

— Нет, — покачал головой отец. — Это только начало. Теперь их отцы будут учить их ремеслу. Кто-то — пахать, кто-то — кузнечить, кто-то — охотиться. И через год, когда они сделают первые самостоятельные шаги во взрослой жизни, они снова придут на площадь и покажут, чему научились.

— А если не научатся?

— Научатся, — уверенно сказал отец. — Потому что за ними стоят отцы. А отцы не подведут.

Матвей посмотрел на отца. На его руки — сильные, мозолистые, в мелких шрамах от молота и топора. На его глаза — спокойные, добрые, но с той твёрдостью, которая появляется только у тех, кто знает, чего хочет.

— Пап, — сказал он. — А я когда-нибудь стану таким, как ты?

— Лучше, — ответил отец. — Ты станешь лучше. Потому что я тебя научу всему, что умею сам, а ты пойдёшь дальше и научишься тому, чего не умею я.

Они пошли домой, и Матвей чувствовал, как внутри разливается тепло — не от солнца, от того, что он — часть этого круга, этой жизни, этого непрерывного движения, которое не кончается никогда.

Когда Семён и Матвей вернулись, в избе уже горел вечерний свет. На столе, накрытом льняной скатертью, стоял ужин: миска с пареной репой, горшок с кашей, ломти ржаного хлеба, солёные рыжики в глиняной плошке. Пахло укропом, чесноком и чем-то сладким — то ли мёдом, то ли яблочной пастилой.

Марья сидела за столом, склонившись над картами. Перед ней лежали два свитка — один старый, пожелтевший, с потёртыми краями, другой новее, но тоже видавший виды. Она водила пальцем по линиям, что-то шептала, иногда хмурилась, иногда удивлённо поднимала брови. Рядом, на лавке, выстроились в ряд её инструменты — мерная верёвка, циркуль, карандаш, берестяные таблички с цифрами.

— Опять карты? — спросил Семён, скидывая зипун.

— Опять, — не оборачиваясь, ответила Марья. — Смотрю, где летом побывали, куда осенью податься. Думаю, в Заволжье сходить, там, говорят, старые курганы есть.

— А мы? — спросил Матвей, усаживаясь на лавку.

— А вы пока с Агафьей побудете, — Марья подняла голову. — Или с Кузьмой. Ты, я слышала, в ученики записался?

— Записался, — Матвей выпрямился с гордостью. — Артём сказал.

— Артём сказал, — усмехнулась мать. — Ну-ну. Посмотрим, что Кузьма скажет. Он мужик серьёзный, просто так учеников не берёт.

— А он уже взял, — Матвей покраснел. — Артём сказал.

— Артём много чего скажет, — мать покачала головой, но в глазах у неё светилась теплота. — Ладно, посмотрим.

Марфа сидела на другой лавке, поджав под себя ноги, и сосредоточенно вырезала что-то из редьки и тыквы. Перед ней на коленях лежала старая холстина, на которой уже красовались несколько готовых изделий — маленькие коробочки с крышечками, похожие на крошечные гробики. Из тыквы — покрупнее, из редьки — помельче. Рядом стояла чашка с водой и лежали перья — чтобы подсушивать, вычищать, придавать форму.

Матвей подсел ближе, заглянул через плечо.

— Что, мух хоронить пойдёшь? — спросил он с лёгкой насмешкой.

Марфа оторвалась от работы, посмотрела на брата с укоризной.

— А ты не понимаешь, — сказала она спокойно, но твёрдо. — Это важный обряд. При всей его нелепости.

— Важный? — удивился Матвей. — Мух хоронить?

— А то, — подала голос Марья, не отрываясь от карты. — Это знак того, что лето кончилось. Что надоедливые твари, которые жужжали над ухом, пили кровь, портили настроение, уходят вместе со старым годом. Девушки хоронят мух — символически. Вместе с ними закапывают и все свои печали, обиды, неудачи.

— И что, помогает? — скептически спросил Матвей.

— Помогает, — сказала Марфа. — Потому что вера помогает. Если ты веришь, что вместе с мухой уходит твоя обида, она уходит. Если нет — остаётся.

Матвей хотел возразить, но отец, который уже сидел за столом, положил ложку и сказал:

— Она права. Не в мухе дело, сынок. В том, что человек сам себя настраивает. Если он считает, что после этого обряда начнётся новая жизнь — она и начнётся.

Марфа кивнула, довольная поддержкой, и снова взялась за редьку. Нож в её руках двигался ловко и уверенно — она уже наловчилась за эти годы.

— А я с вами пойду? — спросил Матвей.

— Куда? — удивилась Марфа.

— Мух хоронить.

Марфа подняла на него глаза, долго смотрела.

— Ты же смеялся, — сказала она.

— Смеялся, — признался Матвей. — А теперь думаю — может, и мне тоже надо что-то с собой похоронить? Ну, страх там, или неуверенность.

— Страх не хоронят, — сказала мать. — Страх побеждают. Но если хочешь — пойдёшь. Посмотри. Может, и тебе понравится.

— Не понравится, — буркнул Матвей, но глаза его уже блестели.

— А ты попробуй, — улыбнулась Марфа. — А потом скажешь.

И они снова замолчали, каждый занятый своим делом. Марья — картами, Марфа — гробиками, Матвей — думами. А Семён ел кашу и посматривал на свою семью с тихой, спокойной гордостью.

— Ладно, — сказал он наконец. — Ешьте давайте. А то остынет. А после ужина пойдёмте мух хоронить. Все вместе.

Вечер опускался на Ольховку. Солнце уже коснулось леса, и тени стали длинными, а воздух — прозрачным и холодным. Веденские вышли на берег озера, где уже мельтешили маленькие девушки со своими гробиками. Их было человек десять — от пяти до двенадцати лет, все в лучших сарафанах, с косами, перевитыми лентами. Они носились по берегу, хвастаясь друг перед другом поделками: кто из редьки вырезал, кто из свёклы, кто из брюквы. Одна девчушка принесла гробик из кабачка — такой огромный, что его можно было нести только вдвоём.

— Ой, смотрите, у меня муха не влезает! — кричала маленькая Анисья, пытаясь запихнуть в свой речный гробик толстую, сонную муху.

— А у меня вылезает! — жаловалась другая. — Она не хочет хорониться!

— А ты её придави! — посоветовала третья.

— Нельзя, — важно ответила первая. — Она должна сама лечь, смирно.

Марфу увидели её подруги — Настя и Ольга. Они бросились к ней, схватили за руки, закружили.

— Марфа! А ты чего принесла? Показывай!

Марфа, краснея от смущения и гордости, раскрыла холстину. Там лежали её гробики — три речных, один тыквенный и один из моркови, с затейливой крышечкой, вырезанной в форме сердечка.

— Ой, какая красота! — заохала Настя. — А это ты сама вырезала?

— Сама, — кивнула Марфа.

— А меня научишь?

— Научу.

— А у меня вот смотри, — Ольга показала свой гробик из свёклы — тёмно-красный, с вырезанными по бокам узорами. — Я его кровью назвала, потому что свёкла как кровь.

— Красиво, — сказала Марфа. — Только мухам там тесно будет.

— Ничего, они маленькие, — отмахнулась Ольга.

Начался процесс «похорон». Девушки выстроились в ряд, каждый держал свой гробик с запертой внутри мухой. Старшая — двенадцатилетняя Ульяна — вышла вперёд и запела тоненьким, дрожащим голоском:

*— Ой, муха вы, муха,
Надоедливая брюха,
Летела ты, жужжала,
Нам спать не давала.
Теперь ты помирай,
В сыру землю улетай!*

Все подхватили, кто как умел. Кто-то фальшивил, кто-то забывал слова, кто-то просто открывал рот и делал вид, что поёт. Мухи в гробиках жужжали, пытались выбраться, но их придерживали пальцем.

— Ой, моя улетела! — закричала одна девчушка, и её муха, вырвавшись на свободу, с победным жужжанием унеслась в сторону леса.

— Ничего, — утешила её Ульяна. — Значит, она не хотела хорониться. В следующем году поймаешь другую.

Девушки начали закапывать гробики в заранее выкопанную ямку у старой берёзы. Кто-то молился, кто-то шептал заговоры, кто-то просто стоял и смотрел. Марфа закопала свой тыквенный гробик особенно бережно, причитая над ним:

— Прощай, лето, прощай, тепло, прощайте, мухи надоедливые. Не возвращайтесь скоро, дайте нам покой.

Потом все сели на траву, достали угощения — пирожки, яблоки, мёд в маленьких горшочках — и начали «поминки». Ели, смеялись, болтали, и никто уже не помнил, зачем всё это затевалось.

Остальные Веденские стояли в стороне, наблюдая. Марья улыбалась, Семён смотрел внимательно, а Матвей вертел головой, пытаясь разглядеть, что же там делают девчонки.

— Пап, — спросил он, — а зачем они это всё? Ну, мух хоронят, а потом едят? Это же глупо.

— Глупо, — согласился Семён. — Но это не просто мухи, сынок. Это смотрины.

— Какие смотрины? — не понял Матвей.

— А такие, — отец усмехнулся. — Мальчишки сейчас по кустам прячутся, смотрят, кто из девчонок как себя ведёт. Кто плачет, кто смеётся, кто красиво причитает. Присматривают себе будущих жён.

— Жён? — Матвей вытаращил глаза.

— А ты думал, — отец положил руку ему на плечо. — Время быстро летит. Вон, Марфа уже невеста. И тебе пора начинать присматриваться.

— К девчёнкам? — Матвей покраснел до корней волос.

— А чего ты испугался? — засмеялся Семён. — Не сейчас, но через годик и о тебе заговорят. Так что смотри, запоминай, кто как себя показывает. Пригодится.

— Я не хочу жениться, — буркнул Матвей.

— А кто говорит — хочешь? — отец хлопнул его по спине. — Я говорю — присматривайся. Чтобы потом не жалеть.

Матвей замолчал, насупился. Но глаза его уже шарили по берегу, по девчонкам, по их смеху, по их платочкам и лентам. И вдруг он заметил одну — невысокую, в зелёном сарафане, с косичками, в которые была вплетена алая лента. Она не кричала, не бегала, а сидела на траве и что-то сосредоточенно вырезала из редьки.

— А это кто? — спросил он, кивнув в её сторону.

— А это, — Семён прищурился, — Фёклина дочка. Звать — Лукерья. Хорошая девочка, тихая, рукодельная.

— А почему она одна?

— А потому что стеснительная, — отец усмехнулся. — Может, и ты стеснительный?

— Я нет, — буркнул Матвей и отвернулся.

Но краем глаза всё поглядывал на девочку в зелёном.

А Марья, стоявшая рядом, тихо сказала мужу:

— Ты бы не торопил его. Ещё маленький.

— Не маленький, — ответил Семён. — Десять лет. В наше время в этом возрасте уже и за станок, и за соху, и за сватовство. Но я не тороплю. Просто... пусть знает.

— Пусть, — согласилась Марья.

И они стояли, смотрели на закат, на дочь, на сына, на этот странный, смешной, но такой важный обряд, и думали о своём. О том, что время бежит, и дети растут, и жизнь продолжается, и новый год уже на пороге.

А девушки закончили поминки, собрали свои корзинки и разбежались по домам, оставив на берегу лишь закопанные гробики да примятую траву.

— Всё, — сказала Марфа, подходя к родителям. — Теперь мухи не будут мешать до весны.

— Молодец, — сказал отец. — А теперь домой. встречать первый день нового года!

И они пошли назад, в тёплую избу, где горел новый огонь, и пахло хлебом, и ждал новый день.

А наутро Ольховка проснулась уже другой — не той, что праздновала, а той, что начинала новую жизнь. Кто-то взялся за топор, кто-то за иглу, кто-то за книгу. Матвей отправился в кузницу, Марфа — к Прасковье учиться петь. Жизнь потекла своим чередом, размеренная, неторопливая, но знающая своё направление.

И только старый огонь, погасший накануне, не воскрес. А новый горел в каждом очаге, и люди смотрели на него с надеждой, потому что знали: как встретишь новый год, так его и проживёшь.

А старая мудрость гласит: не в том сила, чтобы держаться за прошлое, а в том, чтобы уметь его отпустить. Ибо только тот, кто смеет погасить старый огонь, может зажечь новый. Только тот, кто не боится конца, достоин начала. И только тот, кто умеет прощаться, умеет и встречать.

Легенда 6

Волоты.

Закат над Ольховкой догорал, как догорает старая лучина — медленно, нехотя, и краски падали с неба одна за другой: сначала золотые, потом багряные, потом бледно-лиловые. Река Сновка стояла неподвижно, отражая в себе эту тихую красоту. Где-то за лесом кричала иволга, и от её крика становилось сладко и грустно.

Марфа и Матвей сидели на крыльце Агафьиной избы. Она — с тетрадкой на коленях, он — поджав под себя ногу и вертя в пальцах сухую травинку.

— Какие прекрасные закаты случаются над нашей деревней, — сказала Марфа, глядя, как последние лучи солнца золотят макушки берёз. — Никогда не устанешь смотреть.

— Да и природа, — отозвался Матвей, лениво поворачивая в пальцах пустую травинку, — лес и речка, поля, перелески... Никогда не перестанешь удивляться этой гармонии и красоте. Какой же творец создал это всё?

Марфа повернулась к нему, шурясь от последних солнечных бликов.

— Ясно же какой. Боги — Перун и Велес, и Макошь, и Сварог, и Лада... Верно же, бабушка?

Она обернулась.

Агафья стояла за их спинами, чуть поодаль, на верхней ступеньке крыльца. Лёгкий ветер шевелил седые пряди, выбившиеся из-под платка. Она не смотрела на внуков — её взгляд был устремлён вдаль, туда, где небо уже наливалось тёплой, медовой тяжестью, а верхушки дальних сосен казались чёрными, будто кто-то вырезал их из плотной бумаги и наклеил на багровый закат.

Она молчала так долго, что Марфа начала беспокоиться, не услышала ли.

— Агафья Петровна?

— Слышу, — отозвалась старуха, не поворачивая головы. Голос её звучал иначе — глубже, как будто из самой земли поднимался. — Боги... да, были, конечно, и боги. Но не они одни.

— Как это? — Матвей поднял брови.

Агафья медленно перевела взгляд с заката на них. В её глазах отражались огни вечерней зари, и от этого казалось, что сами глаза светятся изнутри.

— А так, — сказала она. — Когда мир был ещё молод и даже боги не знали, каким ему быть на земле появились они. Те, кто был раньше всех. Те, кто помогал горам встать, а рекам течь.

Она села на ступеньку рядом с ними, тяжело опираясь на посох. И проведя рукой по сухой траве, сорвала травинку, поднесла к глазам.

— Это сейчас они — легенда, сказка на ночь. А когда-то... — она помолчала, — их шаги сотрясали землю, а голоса разносились на сотни вёрст.

Матвей невольно выпрямился. Марфа крепче сжала перо.

— Расскажите, — попросила она шёпотом, будто боялась, что громкий голос спугнёт это странное, торжественное настроение.

Агафья кивнула.

— Расскажу, — сказала она. — Садитесь ближе. И не перебивайте. Ибо сегодняшняя сказка — не для слабых нервов и не для короткого ума.

— Когда боги сотворили Явь, — начала Агафья, и голос её зазвучал глубже, будто она сама помнила те времена, — она была пустой. Бескрайняя, ровная, без единого холма, без единого дерева, без единого ручья. Только солнце светило над этой равниной, да глина под ногами была сырой и мягкой.

Ни гор, ни лесов, ни рек и озёр. Пустошь. Пустыня под небом.

И поняли боги: мало создать мир. Его надо наполнить жизнью. Его надо устроить. Его надо полюбить.

Собрались они на совет. Перун ударил молнией — и загорелась первая искра. Макошь простёрла руки над землёй — и стала земля податливой, как тесто. Велес дунул — и побежали над пустошью первые ветры, принося с собой запах дальних морей, которых ещё не было.

— Кто? — спросил Сварог. — Кто сможет обжить этот мир, сделав его прекрасным, как замыслили боги? И не просто обжить, а полюбить, наполнить уютом?

— Кто? — переспросила Лада. — Тот, кто будет большим. Кто охватит небо одним взглядом, а землю — одним шагом.

Тогда боги создали Волотов.

— Это были первые, — Агафья подняла руку, будто показывая их невидимые очертания. — Первые в Яви исполинского роста. Но главное было не в росте.

— А в чём? — спросил Матвей.

— А в том, — Агафья посмотрела ему прямо в глаза, — что Волоты смотрели на мир незамутнённым взглядом. Их сердца не знали корысти. Их руки не знали лени. Их мысли не знали зла. Они были чисты, как утренняя роса, и прекрасны, как первый восход.

Боги вдохнули в них любовь к творению. И Волоты принялись за дело.

Они — не спеша, век за веком, — лепили горы, прочерчивали русла рек, сажали леса в той самой глине, которую сотворила Макошь. Один волот брал горсть земли — и из неё вырастал холм. Другой проводил пальцем по земле — и получалось русло, куда хлынула вода. Третий сажал семечко — и через несколько лет оно становилось дубом, под кроной которого могла бы уместиться целая деревня.

Марфа замерла, представив этот дуб, его ветви, которые словно поддерживают небо, его ствол, в котором можно было бы вырубить целый дом. Агафья же продолжала, и в её голосе слышалась торжественность древнего сказителя, передающего историю, которую помнили только камни да ветер.

— Имена их не сохранились, ибо они не нуждались в именах. Но легенды донесли до нас память о них — о тех, кто был первым в своём роде. О тех, чьи образы до сих пор живут в страхах наших и в восхищении наших предков.

Она перевела дух, и взгляд её устремился вдаль, за горизонт, туда, где небо уже смешивалось с землёй.

— В горах, так высоко, что даже самые смелые орлы боялись подниматься, жил Аспид. Огромный летающий змей, чьи крылья, расправленные, закрывали солнце над целыми долинами. Когда он летел, ветер не смеялся и не плакал — он выл от страха, ибо Аспид не знал преград. Две головы было у него, две пасти, полные пламени, два языка, шипящие проклятия. Одна голова смотрела в прошлое, другая — в будущее. Говорят, его чешуя была крепче любой брони, и ни одно оружие, кованное на земле, не могло пробить её. Только громовое железо, закалённое молнией самого Перуна, могло ранить его. Жил Аспид в глубоких пещерах, куда не проникал свет, и выходил лишь для того, чтобы показать свою силу. А когда он взлетал, горы дрожали, а скалы осыпались в пропасти.

— Змей с двумя головами? — переспросил Матвей с сомнением в голосе.

— Не перебивай, — шикнула Марфа, заворожённая рассказом.

Агафья лишь усмехнулась и продолжила, не обращая внимания на его реплику.

— А в глубине морей, которые тогда ещё только-только находили свои берега, жило Чудо Морское. Такое огромное, что на его спине уместился бы целый остров с лесами и реками. Говорят, путешественники, видевшие его издали, принимали его за неизведанную землю. Спускались на его спину, разжигали костры, строили шалаша. И лишь когда Чудо Морское шевелилось, погружаясь в пучину, они понимали, что земля под ними — живая. Это чудовище повелевало течениями: если оно вздыхало — поднимались волны, если засыпало — море затихало, а если гневало — начинался шторм, который топил корабли за много вёрст от того места.

— Как же они на нём костры жгли? — удивился Матвей, забыв о запрете перебивать.

— А так и жгли, — спокойно ответила Агафья. — Деревья на его спине были настоящие, выросшие из семян, которые когда-то занёс туда ветер. Целая экосистема, забывшая, что она плывёт.

— А по земле, — продолжила она, — ходил Индрик-зверь, царь и владыка всех зверей. Не волот в полном смысле этого слова, не исполин, создавший горы. Но он был первым среди зверей, царем, перед которым даже волки и медведи склоняли головы. Ходил он по землям, прочищая своим рогом ручьи и проточины, сглаживая острые скалы и прорывая русла. Где он пройдёт — там земля становилась плодородной, там расцветали сады, и звери выходили к нему на поклон. А когда он злился, ударом своего рога мог пробить гору насквозь, и тогда из той горы начинала бить река, несущая жизнь.

— И где же он сейчас? — едва слышно спросила Марфа.

Спрятался под землёй поди и спит там до сих пор, сворачиваясь калачиком и тихо вздыхая во сне.

— А в небе, — голос Агафьи стал чуть громче, — летала Стратим-птица, мать всех птиц. Такая огромная, что когда она расправляла крылья, на земле наступала ночь. Где пролетит — там ветра образуются, а по земле гуляют бури. Она умела поднимать волны на море одним шелестом перьев, и те, кто видел её, говорили, что от блеска её оперенья можно ослепнуть. В «Голубиной книге» поётся, что все птицы — младшие сёстры Стратим-птицы, и когда она вострепеталась — Океан-море восколыхался, топил она корабли гостиные со товарами драгоценными.

Они работали молча. Без споров, без жалоб, без усталости. Потому что видели цель — сделать мир прекрасным.

— И долго они так жили? — тихо спросила Марфа.

— Долго, — кивнула Агафья. — Так долго, что сами забыли, когда начали. Мир рос, хорошел, наполнялся жизнью. А Волоты... они были счастливы.

И никто не нарушал их покоя.

Потому что не было никого, кто мог бы нарушить.

Кроме тех, кого боги создали следом.

Агафья замолчала, глядя на закат, который уже почти угас, оставив лишь тонкую багровую полоску на самом краю неба.

— Волоты наполнили мир гармонией и установили в нём порядок, — продолжала она тихо. — Горы встали там, где надо, реки потекли туда, куда следует, леса зашумели листвою, а звери нашли свои тропы. Всё было на своих местах. Всё дышало покоем.

Она помолчала.

— Но боги захотели большего. Им показалось, что красоты недостаточно. Им захотелось, чтобы этот мир не просто существовал, а чувствовал. Чтобы кто-то мог взглянуть на закат и заплакать от восторга. Чтобы кто-то мог обнять другого и почувствовать тепло. Чтобы кто-то мог потерять и страдать, и обретать, и радоваться.

— Так появились мы, — тихо сказала Марфа.

— Так появились вы, — кивнула Агафья. — Люди.

Она провела рукой по воздуху, будто рисуя невидимую картину.

— Боги не стали лепить нас из камня, как волотов. Они взяли мягкую глину, смешали её с утренней росой и вдохнули в неё не только душу, но и сердце. Сердце, способное любить и ненавидеть, помнить и прощать, надеяться и отчаиваться. Макошь пряла нить судьбы для каждого, Лада окропляла её любовью, а Велес шептал на ухо первые слова, чтобы человек научился говорить и делиться мыслями.

— Поэтому мы так несовершенны, — усмехнулся Матвей.

— Поэтому вы так живы, — поправила его Агафья. — Несовершенство — это не ошибка богов. Это их замысел. Если бы вы были совершенными, вы не могли бы расти. А жизнь — это и есть рост.

Она сложила руки на коленях.

— И вот, когда первые люди открыли глаза, они увидели мир, уже готовый для них. Леса, полные дичи, реки, полные рыбы, пещеры, где можно укрыться от непогоды. Волоты смотрели на них сверху вниз — и улыбались. Потому что в этих крошечных существах, которые едва доставали им до колена, они видели не угрозу, а младших братьев.

— И долго мы жили душа в душу? — спросила Марфа.

— Долго, — кивнула Агафья. — Долгие века. Волоты не мешали людям селиться у подножия гор, которые они сами создали. Люди не трогали священные рощи, где волоты проводили свои обряды. Мы жили рядом, не пересекаясь, но чувствуя друг друга.

Она закрыла глаза, будто вспоминая.

— Это было время, когда человек мог поднять голову и увидеть над собой не облака, а плечо волота, который шагал по своим делам. Время, когда дети играли у ног великанов, а те осторожно перешагивали через них, чтобы не наступить. Время, когда люди приходили к волотам за советом, а волоты слушали их песни.

— И что же случилось? — спросил Матвей.

— А то, — Агафья открыла глаза, и в них больше не было мечтательной грусти, — что люди стали умножаться. Быстро. Слишком быстро. Поначалу волоты радовались: их младшие братья растут, заселяют землю, строят города. Но чем больше становилось людей, тем меньше оставалось места для волотов. Где раньше один великан мог бродить свободно, теперь теснились десятки семей, которые рубили лес, распахивали поля, строили крепости.

Она покачала головой.

— Волоты не злились. Они просто уходили дальше, в горы, в леса, в тундру. Но и там их настигала людская жадность. Человек — существо, которое хочет большего. Ему всегда мало. И вот уже не просто места ему не хватает, он начинает завидовать. Волот может убить мамонта одним ударом — почему я не могу? Волот может перепрыгнуть реку — почему я стою на берегу? Волот живёт сотни лет — почему я умираю так быстро?

— Это неправильное сравнение, — тихо сказала Марфа.

— Это человеческое сравнение, — возразила Агафья. — Мы всегда сравниваем себя с другими. И это наша сила, и это наша слабость.

Она посмотрела на потухающую зарю.

— А потом случилось то, что должно было случиться. Волоты, которые дали нам мир, начали восприниматься как угроза. И люди, объединившись, восстали против своих старших братьев

Агафья вздохнула, и этот вздох был тяжелее обычного.

— Поначалу волоты не воспринимали их всерьёз. Ну, подумаешь, муравьи зашевелились — можно перешагнуть, можно отодвинуть, можно просто не заметить. Они смахивали мелкие отряды людей, как смахивают со стола хлебные крошки. Люди гибли сотнями, но на их место приходили тысячи. Волоты же были неспособны плодиться быстро — их было мало, и каждая потеря была невозполнима.

Старуха покачала головой.

— Тогда волоты начали действовать иначе. Они поняли: если не уничтожить гнёзда, муравьи будут расползаться бесконечно. И они пошли на деревни. Стирали их с лица земли, не оставляя ни одного живого. Там, где прошёл волот в гневе, оставалась только выжженная земля да пепел.

Марфа побледнела. Матвей сжал кулаки.

— И люди взмолились богам, — продолжала Агафья. — Не как рабы, не как жертвы — как дети, просящие защиты у отца. Они встали на колени перед капищами, они жгли костры, они пели песни такой силы, что разрывались облака.

— И боги услышали? — шёпотом спросила Марфа.

— Услышали, — кивнула Агафья. — Но не сразу. Боги смотрели на своих первенцев — волотов — и на своих младших детей — людей. И понимали: выбор будет страшен.

Она замолчала, собираясь с мыслями.

— Боги полюбили людей. Они полюбили их за страсть, за горение, за то, что люди могли мечтать и умирать за мечту. Волоты были сильны, но они были спокойны. Волоты были вечны, но они были равнодушны. Они строили порядок, но не умели любить его так, как любит человек каждый камень, каждую травинку, каждый прожитый день.

— И боги сделали выбор? — спросил Матвей.

— Сделали, — ответила Агафья. — Не сразу, не без колебаний, но сделали. Они не убили волотов своей рукой — они лишь сделали их уязвимыми, смертными.

— И люди начали охоту, — тихо закончил Матвей.

— И люди начали охоту, — эхом отозвалась Агафья. — Не битву — охоту. Потому что волоты уже не были равными противниками. Они стали дичью.

Она говорила медленно, каждое слово роняя в тишину.

— Они падали в пропасти, сброшенные сотнями рук. Они задыхались в собственной крови, которую люди научились пускать из ран острыми клинками. Они уходили в леса, в горы, в болота, но люди находили их везде. Человек — существо терпеливое. Он может ждать годами, поколениями. Волот — никогда не был терпелив.

— И со временем... — Марфа не договорила.

— Со временем люди истребили волотов, — закончила Агафья. — Полностью. Так, что от них не осталось ничего, кроме костей, которые мы до сих пор находим в земле, да легенд, которые передаём из уст в уста.

Она помолчала.

— И стали люди полноценными хозяевами Яви. И начали строить города, воевать друг с другом, любить, ненавидеть, рожать детей и умирать. Просто такая у них природа. Нет ничего идеального.

— Но это жестоко, — прошептала Марфа.

— Жестоко, — согласилась Агафья. — Но справедливо по-своему. Волоты не умели делиться жизнью, и они потеряли её. Люди умеют делиться, и поэтому их много. Мы победили не силой — числом. И упорством. И жестокостью, которую сами в себе не признаём.

Матвей молчал, глядя в темноту. Марфа вытирала слёзы, которые сама не заметила.

— Вот такая история, — сказала Агафья. — Не добрая и не злая. Просто... человеческая. Она встала, опираясь на посох.

— А теперь — бегите. Уже поздно. Родители, небось, заждались.

Марфа и Матвей поднялись, но не сразу пошли к двери. Стояли молча, переваривая услышанное.

Агафья погасила лучину, и изба погрузилась во тьму. Близнецы вышли на крыльцо. Ночь была звёздная, тихая.

— Матвей, — тихо сказала Марфа.

— М?

— А ты боишься, что мы такие же? Что мы тоже когда-нибудь... станем врагами для кого-то?

Матвей долго молчал. Потом ответил:

— Боюсь. Но боюсь не стать врагом, а не заметить, что становлюсь им.

Они пошли домой, и звёзды светили им в спины, и где-то в земле, может быть, спал последний волот и видел сны о солнце, которое он уже никогда не увидит.

Легенда 7

Первая Яга

Вечер опускался на Ольховку мягкий, звёздный, полный той особенной тишины, какая бывает только поздней осенью, когда лето уже забылось, а зима ещё не вступила в свои права. В избе Агафьи было тепло, пахло травами — мятой, зверобоем, чем-то ещё, древним, неуловимым, от чего на душе становилось спокойно, но чуть тревожно.

Лучина горела на столе, отбрасывая пляшущие тени на бревенчатые стены, на полки с глиняными горшками, на связки сушёных грибов, висящие под потолком. Печь, натопленная с вечера, ещё хранила жар, и воздух был сухим, тёплым, почти сонным.

Марфа сидела на лавке, поджав под себя ноги, и водила угольком по шершавой бересте. На коленях у неё лежала деревянная дощечка — самодельная, отшлифованная до гладкости. Рядом — стопка испорченных пластин, где руны расплзались, ломались, не желая складываться в нужный знак.

Матвей расположился у печи, на низкой скамеечке, и смотрел в огонь. Не на пламя — его уже не было, только красные угли, которые дышали жаром, то вспыхивая, то затухая. Он сжимал в пальцах сухую травинку, крутил её, ломал, бросал в печь, брал новую.

— Не спится? — спросила Агафья, помешивая угли кочергой.

— Не спится, — вздохнула Марфа, не поднимая головы. — Они уехали уже три дня назад. Обещали быть через седмицу.

— Мамка говорила, что к Новолетию вернутся, — добавил Матвей, но в голосе его не было уверенности.

— Вернутся, — спокойно сказала Агафья. — Куда они денутся?

Она подбросила в печь щепку, и та вспыхнула, осветив её лицо — старое, морщинистое, с глазами, которые видели больше, чем могли выдержать.

Марфа молчала, водила угольком по бересте, и получалось у неё плохо. Руна «Вечность» — та, что должна быть замкнутой, круглой, вечно возвращающейся к себе — распалась на куски, не хотела складываться.

— Всё когда-нибудь кончается, бабушка, — сказала она тихо, почти шёпотом. — Праздники, лето, надежды... Даже родители когда-нибудь перестанут ездить. Или мы перестанем их ждать.

Матвей сжал зубы, не оборачиваясь. Он хотел возразить, сказать, что это неправда, что родители обязательно вернутся, но слова застряли в горле. Потому что и сам он не был в этом уверен.

Агафья подошла к столу, села напротив Марфы. Взяла берестяную пластину, повертела в руках.

— Что это?

— Руна, — ответила Марфа. — Я пытаюсь нарисовать руны «Вечность». Но она не получается. Всё время съезжает, ломается. Может, потому что вечности не существует?

Она подняла на бабушку глаза — в них была не детская капризность, а настоящая боль, настоящий поиск. Вопрос, который она задавала себе не первый раз.

Агафья долго молчала. Гладила шершавую бересту, водила пальцем по неровным линиям. Потом взяла уголёк и одним уверенным, спокойным движением вывела знак — ровный, чёткий, замкнутый в круг.

— Существует, — сказала она. — Но не в том смысле, как ты думаешь. Вечность — это не когда что-то длится бесконечно. Это когда что-то повторяется, обновляется, но остаётся собой.

Марфа нахмурилась.

— Я не понимаю.

Матвей, заинтересовавшись, оторвался от печи, повернулся к ним.

— Объясни, бабушка.

Агафья откинулась на спинку стула, сложила руки на груди.

— Расскажу вам одну историю, — сказала она. — Об одной женщине. О той, чья смерть стала бессмертием.

Матвей придвинулся ближе, Марфа отложила уголёк, забыв про бересту.

— Она настоящая? — спросил он.

— Более настоящая, чем ты думаешь, — ответила Агафья. — Её звали... ну, у неё было много имён. Но люди запомнили одно. Первое.

Она помолчала, собираясь с мыслями, и в тишине было слышно, как потрескивают угли в печи.

— Звали её Яга.

Давным-давно, на заре цивилизации, когда первые люди только начинали ставить избы и обносить их плетнями, в маленькой деревне Велесовка, что затерялась среди глухих лесов, родилась девочка. В тот день небо было чистым, и солнце светило ярко, как будто само приветствовало её приход.

Но девочка не разделяла этой радости.

Она кричала. Не плакала — кричала, пронзительно, звонко, на весь посёлок. Повитухи, принимавшие роды, переглядывались и качали головами: никогда они не слышали такого сильного, такого отчаянного крика. Мать, обессиленная, не могла унять её. Отец метался у порога, не зная, чем помочь.

И только когда мать, отчаявшись, вынесла девочку на улицу, крик стих. Младенец затих, уставившись в небо, в листву деревьев, в бескрайний лес, который начинался сразу за околицей.

Так и называли её — Яга. Кричащая. Та, что не молчит.

С ранних лет за ней начали замечать странности. Не пугающие — удивительные.

Когда Яге было два года, родители взяли её с собой в лес за грибами. В чаще на них выскочила стая волков — голодная, злая, с горящими жёлтыми глазами. Отец выхватил топор, мать прижала ребёнка к груди, готовясь к худшему. Но волки не напали. Они замерли, потом один за другим опустили на брюхо, а вожак, огромный седой зверь, подошёл к Яге и лизнул её в щёку. Девочка рассмеялась и потянулась рукой к его шерсти.

В три года она начала говорить. Но не слова — она шептала названия трав, которые никогда не видела. «Это — зверобой, от боли в животе», — говорила она, протягивая матери пучок жёлтых цветов. «Это — полынь, от лихого глаза». Мать, сама знахарка, проверяла — и каждый раз оказывалось, что дочь права.

В четыре года она уже не просто указывала травы — она лечила. К ней приходили соседи. У кого ломило спину — Яга давала корень лопуха, велела заварить и пить по утрам. У кого гноилась рана — она находила подорожник, мяла его и прикладывала к больному месту, приговаривая непонятные слова.

— Откуда ты это знаешь? — спросил её однажды отец.

— Земля говорит, — ответила Яга. — Трава говорит. Всё говорит, если слушать.

В пять лет она впервые заговорила с деревом. Старая берёза, что росла у околицы, сохла, и никто не мог понять почему. Яга подошла к ней, прижалась щекой к шершавому стволу и прошептала: «Пей, корни тяни». И берёза ожила, зазеленела новой листвой.

Люди дивились и боялись. Но больше всё же уважали. Говорили: «Это не просто девочка. Это посланница богов».

В семь лет Яга спасла село от мора. Когда люди падали и умирали, она ходила между избами, раздавая настои, в которых никто не мог опознать травы. Она прикасалась к лбам больных, шептала, и жар спадал. Умерли не все — многим, очень многим она вернула жизнь.

Старейшины собрали совет и решили: Яга будет знахаркой деревни. Хотя ей было всего семь лет.

— Ты не как все, — сказал ей старый волхв. — Ты больше, чем все. Ты — дар.

Казалось, она знает намного больше, чем кто-либо на земле. Не от книг — книг тогда почти не было. Не от старших — старшие сами приходили к ней за советом. Она знала потому, что память земли открывалась перед ней, как раскрывается бутон на рассвете. Травы шептали ей свои имена, реки пели о бродах, а ветры приносили вести из таких далей, куда птица не залетала.

К двадцати годам о ней знала вся округа. К двадцати двум её выбрали старостой деревни Велесовка — не за силу, не за богатство, а за мудрость, которая была старше самой деревни.

Женщина-староста — неслыханное дело в те времена. Но никто не посмел перечить. Потому что когда Яга говорила, даже самые старые и сварливые мужики замолкали и слушали.

К ней приезжали рожать со всей округи и из дальних городов. Говорили, что она принимает роды безболезненные для матери, а дети рождались здоровые, как богатыри, с крепким криком и ясными глазами. Иные шептали, что Яга что-то шепчет животу, когда женщина мучается, и боль уходит, будто её и не было. Сама же она отмахивалась: «Не я, травам спасибо. Вода — живая. Каждое семя знает, как расти».

У неё лечились и простой люд из окрестных деревень, и знатные бояре из городов покрупней. Княжеские гонцы скакали днями и ночами, чтобы привезти Ягу к больному вельможе. И она ехала — не за платой, не за почестями, а потому что не умела отказывать. Говорили, что она могла остановить кровь одним прикосновением, вытянуть хворь из костей заговором, а от лихого глаза оберечь простым наговором на воду.

Однажды к ней привезли умирающего воина — стрела пробила лёгкое, и лекари разводили руками. Яга опустила на колени, положила ладони на грудь раненого, и, как потом рассказывали очевидцы, из её рук пошёл золотистый свет. Воин застонал, открыл глаза и вскоре пошёл на поправку. Когда его спросили, что он видел, он ответил: «Морена стояла у порога, но Яга закрыла дверь».

О ней слагали легенды при её жизни. Певцы-сказители ходили от села к селу и пели о чудесной знахарке, которая лечит зверей и людей, говорит с ветром и врачует саму землю. В этих песнях Яга становилась то лесной богиней, то дочерью Перуна, то вещей девой из древних сказаний.

Сама же она не любила этих песен.

— Не богиня я, — говорила она. — Просто человек. Который слушает.

Старостой она правила твёрдо, но справедливо. При ней в Велесовке не голодали, не воровали, не ссорились без причины. Если случался спор, Яга выходила на площадь, и одно её слово решало всё. Даже самые заядлые сутяги опускали головы.

А по ночам она сидела на крыльце и смотрела на звёзды. И ей казалось, что звёзды смотрят в ответ.

Она брала на себя все обряды в деревне. Не потому что хотела власти или почестей — просто никто другой не мог. Не мог так, чтобы боги услышали. Не мог так, чтобы земля отзывалась.

Она встречала новую жизнь в Яви — и провожала её в Навь. Самое трудное, самое важное, самое страшное.

В те времена усопших хоронили не в земле, как сейчас, а в небольшом срубе в лесу, на окуренных стволах деревьев высоко над землёй. Домовины ставили на высоких пнях, чтобы зверьё не добралось, чтобы земля не давила, чтобы душа могла легко покинуть тело и уйти по стволу в корни а от туда в Навь туда, куда ей было нужно. В некоторых глухих деревнях этот обычай жив и поныне.

Яга сама выбирала место для каждого.

Она не хоронила безлико. Она знала: чью душу надо проводить песней, чью — молчанием, чью — слезами, а кого и вовсе провожать не нужно, ибо не умер человек, а ушёл сам, по своей воле. Она шептала имена, зажигала лучины, раскладывала по углам сруба травы, которые помогали душе не заблудиться в пути. И после её обрядов мёртвые больше не беспокоили живых. Ни стонами, ни видениями, ни тоской, что тянется из-за грани.

Люди замечали: в деревнях, где Яга провожала усопших, не было «навых». Не было ночных криков, не было теней на околице, не было тех, кто возвращается, потому что не могут уйти. Старухи шептали: «Избранна богами». Но Яга отмахивалась:

— Не «избранная». Просто знаю, как надо.

В тридцать пять лет она покинула родную Велесовку. Собрала нехитрый скарб — травы, посох, глиняную плошку, — и ушла. Никто не знает, что ей тогда двигало. Может, чувство ответственности перед миром, который задыхался без её помощи. Может, понимание, что в других концах земли есть те, кто ждёт. Может, просто не могла стоять на месте, когда рядом кто-то страдал.

Долго её никто не видел, а потом стали приходиться вести из дальних мест.

Её видели в Новгороде, на Торговой стороне, где она лечила купцов и принимала роды у жён ремесленников. Её видели в Пскове, где она отпевала умерших во время мора, и после её молитв мор отступил. Её видели в Киеве, на Подоле, где она спорила с волхвами о толковании знамений и, как говорили, оказалась права.

Её видели в Чернигове, где она останавливала кровь у раненого княжеского дружинника. Её видели в Смоленске, где она предсказала засуху и велела копать новые колодцы — и колодцы дали воду. Её видели в Ростове, в Муроме, в Рязани — везде, где была нужда, где требовалась помощь, где никто другой не мог.

Говорили, что однажды она дошла до самого Китеж-града, города, что не всякому открывается. И что там, в его стенах, она узнала что-то, чего не знали даже боги. Но это уже не легенды, а слухи, а слухам верить не стоит.

Одно было ясно: куда бы она ни пришла, там становилось легче. Роженицы рожали без мук, мертвецы не возвращались, больные вставали с постелей, а споры улаживались без кровопролития.

Имя её передавали из уст в уста, и постепенно оно обрастало новыми смыслами. Где-то её звали Ведогонь — за то, что она ведаёт путь. Где-то — Матерь сыра земля — за то, что лечит корни всего живого. Где-то — Хранительница порога — за то, что встречает и провожает.

Но самым первым, самым древним именем оставалось то, которое дали ей при рождении. То, от которого захлёбывались младенцы.

Яга.

И когда её спрашивали, не тяжело ли ей одной, она отвечала:

— Легче, чем тем, кто один в толпе. А я никогда не одна. Со мной земля. Со мной лес. Со мной те, кого я спасла. И те, кого провожала. Они все — со мной.

И шла дальше.

Говорят, что свой последний кров она нашла в деревне Весточки, что затерялась среди лесов на границе с топями. Почему именно там — никто не знал. Может, потому что когда-то давно она спасла эту деревню от мора. Может, потому что там был свой, особенный покой. Может, потому что сама земля там тоньше, а небо ближе.

Ей было восемьдесят три года. Невиданный возраст для тех времён. Да и для нынешних — редкость. Восемьдесят три — это когда внуки уже старики, а правнуки сами имеют внуков. Но Яга не сгибалась, не жаловалась, не пряталась от ветра. Глаза её оставались ясными, руки — твёрдыми, а голос, когда она шептала заговоры, — молодым.

Она умерла не от болезни, не от старости. Просто однажды утром не проснулась. Лежала на лавке, укрытая вышитым одеялом, и на лице её застыла спокойная, почти счастливая улыбка. Будто она увидела во сне то, что искала всю жизнь.

Весть разнеслась быстро. Люди шли со всей округи — из Ростова, Суздаля, Мурома, Новгорода. Шли даже те, кто никогда не видел её, но слышал о ней от своих отцов и дедов. Шли с плачем, с причитаниями, с цветами и травами, которые она так любила.

Провожали всем миром.

Для неё сделали богатый сруб в лесу — не простой, из вековых дубов, с резными наличниками и крышей, покрытой серебряной стружкой. Расходы оплатили местные бояре, те, чьи жены рожали без мук, чьи дети выживали в болезнях, чьи отцы уходили без мучений.

Три дня сруб окуривали редкими травами волхвы — те, кто сами учились у неё. Дым поднимался к небу густой, сизый, пахнувший полынью, зверобоем и чем-то ещё, древним, забытым. Говорят, в эти три дня ни один зверь не приблизился к лесу, ни одна птица не пролетела над избой. Даже лес затих, будто знал: провожают не просто знахарку — провожают Хранительницу.

Когда сруб закрыли, и тело Яги исчезло в его глубине, над поляной разнёсся стон. Люди плакали — не стыдась, не закрываясь. Плакали женщины, которых она вытащила с того света. Плакали мужчины, чьи раны она залечила. Плакали старики, чьи родители когда-то лежали на её руках. Плакали дети, которые не понимали, почему плачут взрослые, но тоже плакали.

Скорбь была великая. Но время шло, и пустота, которую оставила Яга, начала заполняться слухами, кривотолками и самозванцами.

Уже через год после её ухода по деревням заходили странницы, называвшие себя Ягой. Вдова с ребёнком, что выучила пару заговоров; старуха, помнившая Ягу молодой и пытавшаяся подражать её голосу; молодая знахарка, чьи травы иногда помогали, а иногда — нет. Они приходили, требовали уважения, даров, платы. Но всё рушилось, когда они начинали лечить или принимать роды.

Женщины мучились в схватках, дети рождались слабыми, больные не вставали. А мёртвые — о, мёртвые не хотели уходить. После похорон, которые проводили самозванки, в деревнях начинались странные вещи: стоны по ночам, тени на околице, скрежет под полом. Тоска, которой раньше не было, поселялась в домах, и люди не могли избавиться от чувства, что кто-то незримый бродит за их спинами.

Люди быстро понимали: это не Яга. И прогоняли их. А иных и побивали — за надругательство над памятью той, кого они почитали.

— Если бы это была она, — говорили старики, — мы бы знали. Земля бы запела. Вода бы засветилась. А тут — тишина. Значит, чужая.

При жизни Яга не оставила потомков. Ни сына, ни дочери. Говорили, она сама выбрала этот путь — не связывать себя семьёй, чтобы не отвлекаться от служения. И все, кто назывался её кровными родственниками, не имели какого-либо дара. Кузены, племянницы, внучатые племянники — они пытались лечить, но травы под их руками вяли, заговоры рассыпались, а роженицы кричали от боли, как и сотни лет до них.

Толпа была беспощадна. Самозванцев выводили на площадь, забрасывали гнилыми овощами, а то и камнями. Те, кто славил своё «родство» с Ягой, быстро затыкались и уходили в тень. Имя, которое при жизни прославляли, после смерти стало проклятием для тех, кто осмеливался его украсть.

Но были и другие. Те, кто не кричал о себе. Те, кто тихо, в тени, помнил.

По ночам в глухих деревнях передавали из уст в уста настоящую мольбу. Не ту, что у капищ, а древнюю, на языке, который никто уже не понимал, но который чувствовали сердцем. И те, кто шептал эти слова, иногда слышали ответ. Тихий, как ветер в листве. Или не ветер? Не понять.

И вот однажды начали появляться слухи.

Сначала робкие, как шепот листвы перед грозой. Потом всё настойчивее, всё явственнее. Охотники, возвращаясь из дальних угодий, рассказывали странное: в лесу, где стоял сруб Яги, по ночам бродят огни. Не болотные, не блуждающие — ровные, золотистые, как свет лучины в тёмной избе. А один лесничий, человек трезвого ума и крепкой руки, божился, что видел саму Ягу. Сидела на поваленном дереве, гладила волка, лежавшего у её ног, и смотрела на звёзды.

— Звал? — спросила она, даже не обернувшись.

Лесничий перепугался и ушёл. Не побегал — ушёл, потому что ноги не слушались. А когда обернулся, на поляне уже никого не было. Только волк выл где-то далеко, и вой этот был не страшным, а тоскливым, будто он звал ту, кто только что была рядом.

Слухи оставались слухами — до той ночи, когда Яга сама явилась в дом старейшины деревни Велесовки. Той самой деревни, где она родилась.

Старейшину звали Добромир. Он был стар, сед, опирался на клюку, и никто уже не помнил, сколько ему лет. Но помнили другое: Добромира сама Яга принимала на свет. Его мать, умирая, шептала, что не чувствовала боли, когда рожала его. «Яга прикоснулась к моему животу, — говорила она, — и боль ушла. А ты вышел здоровый, как дуб».

Теперь у Добромира заболела дочь. Молодая, красивая, только-только сама собиравшаяся стать матерью. Болезнь пришла внезапно: жар, слабость, кашель, от которого кровь выступала на губах. Местные знахари разводили руками. Волхвы шептали, что это не хворь, а проклятие, и бессильны перед ним. Бояре присылали лекарей из городов — те тоже не могли помочь. Дочь таяла на глазах, и Добромир, глядя на её бледное лицо, готовился к худшему.

Он уже смирился. Все смирились. В доме пахло смертью — тем особенным, сладковатым запахом, который не спутаешь ни с чем.

В ту ночь Добромир не спал. Сидел у постели дочери, держал её за руку, и слёзы текли по его морщинистым щекам. В доме было тихо, только лучины потрескивали, да где-то за стеной скреблась мышь.

А потом скрипнула дверь.

Добромир поднял голову. На пороге стояла женщина. Он не узнал её — и узнал. Потому что не мог не узнать.

Та же прямая осанка, тот же спокойный, всевидящий взгляд. Та же аура спокойствия и силы, от которой хотелось не кланяться — замереть. Но не было ни морщин, которые помнили старики, ни седины, ни согбенной спины. Перед ним стояла Яга — молодая, сильная, с глазами, в которых горели звёзды.

— Ты... — выдохнул Добромир и не договорил.

Она не ответила. Подошла к столу, молча положила на него пучок трав — засушенных, но пахнувших свежестью, будто их только что сорвали. Травы были незнакомыми, Добромир никогда таких не видел.

Яга повернулась к кровати, посмотрела на девушку. Та спала, но дыхание её было прерывистым, лицо — восковым.

— Завари три щепотки на кружку воды, — сказала Яга. — Поить через каждые два часа. Через день встанет.

Голос её был тихим, но в этой тишине он прозвучал как приказ. Как приговор. Как надежда.

Добромир хотел спросить — кто она, откуда, почему здесь, но слова застряли в горле. Он только кивнул, а когда поднял глаза, на пороге уже никого не было. Только дверь чуть приоткрыта, да с улицы тянет холодом.

Он выбежал на крыльцо. Никого. Только луна висела низко, да где-то в лесу выл волк.

Утром Добромир сделал всё, как было сказано. Настой из незнакомых трав оказался горьким, но дочь пила не морщась. Жар спал к полудню. К вечеру она открыла глаза и попросила есть. А через день, как и было обещано, встала с постели.

Слух разнёсся быстро. Люди приезжали в Велесовку, смотрели на выздоровевшую девушку, вдыхали запах оставленных трав, которые не вяли, не сохли, а лежали на столе свежими, будто их только что сорвали.

— Это она, — шептали старики. — Яга вернулась.

— Не вернулась, — отвечали другие. — Она никогда и не уходила.

— Да как это возможно? — возразил Матвей, не веря своим ушам. — Мертва же была. И давно. Это наверно Добромиру показалось. От старости. Или от горя. Глаза уже не те.

— Это лишь история, Матвей, — ответила Марфа, хотя в голосе её не было уверенности. — Не значит, что так было на самом деле.

Агафья посмотрела на них. Долго. В упор. А потом усмехнулась — не зло, не насмешливо, а так, как усмеваются старые мудрые женщины, которые видели слишком много, чтобы спорить с теми, кто не видел ничего.

— Возможно, — сказала она тихо. — Если вмешиваются боги.

Она подбросила в печь щепку, и та вспыхнула, осветив её лицо — старое, морщинистое, с глазами, в которых пряталась тьма веков.

— Видя страдания людей, Мать Сыра Земля и боги, что правят миром, вернули Ягу. Но не просто так. Был договор.

Она перевела взгляд на Марфу, на Матвея.

— Яга не увидит покоя, пока не найдёт или не обучит себе преемника. Того, кто примет её знания, её силу, её бремя. Того, кто сможет стоять на Пороге.

— И что тогда? — спросил Матвей.

— Тогда она передаст всё. Каждую траву, каждое слово заговора, каждую песню, которую пели земле. Каждый вздох, каждый шаг, каждую слезу, пролитую над чужим горем. Преемник получит не только знания Яги — он получит память всех, кто был до него. Тех, кто стоял на Пороге в разные века, в разных землях, под разными именами.

— И сколько же их было? — тихо спросила Марфа.

Агафья пожала плечами.

— Никто не знает. Может, сотни. Может, тысячи. Может, всего одна — Первая Яга, которая возвращается снова и снова, просто меняя обличья. Кто теперь разберёт?

Она замолчала, глядя на огонь.

— Но одно ясно: этот долг, эта помощь людям, эта защита Порога — они не кончатся никогда. Пока есть те, кто рождается, кто страдает, кто умирает, кто нуждается в помощи, — будет и тот, кто эту помощь принесёт.

— И где же она сейчас? — спросил Матвей. — Эта преемница?

Агафья перевела взгляд на него. В глазах её плясали отблески пламени.

— Может, она уже идёт по земле. Может, ещё спит в колыбели. А может, сидит сейчас передо мной и слушает сказку, даже не подозревая, что когда-нибудь ей придётся встать на Порог.

Марфа вздрогнула. Матвей нахмурился, что-то заподозрив, но спросить не решился.

— А если она не захочет? — спросила Марфа. — Если откажется? Если выберет другую судьбу?

Агафья улыбнулась. Улыбка была печальной, но мудрой.

— Выбор — это тоже часть дара, — сказала она. — Яга не насилует. Она предлагает. И если тот, кто достоин, откажется значит, не время. Или не тот. Или мир ещё не готов.

Она встала, опираясь на посох.

— Но одно ясно: этот долг, эта честь, эта ноша — они вечны. Как сама земля. Как реки, которые текут тысячелетия. Как лес, который умирает и возрождается снова. И пока есть те, кто помнит, пока есть те, кто передаёт из уст в уста древние сказки, пока есть те, кто слушает и верит, — Яга будет возвращаться. Всегда.

Она подошла к окну, за которым темнела ночь.

— А теперь — спите. Уже поздно.

Марфа и Матвей не спорили. Они поднялись, но не сразу пошли в кровати.

— Бабушка, — тихо спросила Марфа, — а ты ты видела её? Настоящую?

Агафья обернулась. В свете лучины её лицо казалось высеченным из камня.

— Может, видела. Может, нет. А может, она всегда рядом. Просто мы не всегда умеем смотреть.

Она задула лучину, и изба погрузилась в темноту.